

Леонид Лопатников

**Московский мальчик на войне, до
и после**

Из воспоминаний старого журналиста

Москва, 2013 год

Оборот титула

УДК
ББК
Л77

Лопатников А.И. Московский мальчик на войне, до и после. М. 2013

На фоне автобиографического повествования раскрываются некоторые черты жизни обычного человека в Советском Союзе - в годы, предшествовавшие Великой отечественной войне, самой этой Войны, участником которой был и автор, а также в послевоенные годы, вплоть до памятного 1953-го. Показан процесс изменений, происходивших в мировоззрении и взглядах автора под влиянием общественно-исторических обстоятельств.

Автор – журналист, экономист и переводчик, проживший долгую сложную и, в конечном счете, счастливую жизнь. Его воспоминания могут представить интерес для любителей мемуарной литературы.

ISBN

© А.И.Лопатников , 2013

Посвящается любимой жене Наташе, друзьям Яше и Сереже – трем дорогим мне людям, с которыми от детства до старости прожиты все 90 лет моей жизни.

Кредо:

Человечество, надо надеяться, будет существовать вечно, во всяком случае – долго. Но жизнь каждого отдельного человека очень коротка. «Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь» – справедливо писал поэт. Поэтому надо, чтобы каждый человек успел хлебнуть радости жизни, ощутить ее в полной мере, и еще успел оставить после себя добрый след на Земле, который, хоть чуть-чуть, но помог бы потомкам тоже испытать эту радость.

В этом, по-моему, – смысла жизни вообще и моей жизни, в частности.

Пролог

Когда я очнулся, склонившаяся надо мной женщина в белом спросила:

– А вы знаете, что с вами случилось? – и, не услышав ответа, ответила сама:

– Обыкновенный для московского интеллигента инфаркт, только очень обширный, я бы сказала, даже громадный...

От меня тянулись какие-то провода к компьютеру, экрана которого я не видел: увидел только тогда, когда начал приподниматься с постели и мог повернуть голову вверх и направо. По экрану непрерывно бежали пилообразные зубчатые линии, это билось мое разорванное инфарктом сердце.

Реанимационное отделение академической больницы. Вокруг белый кафель, тишина – только еле слышное жужжание приборов.

Реанимация в переводе на русский язык означает оживление. Осознав, что сказала мне женщина – как я позднее узнал, это была заведующая отделением – я понял, что снова, уже второй раз в своей жизни вернулся с того света. Прежде как-то не обращал внимания, а вот теперь, прочтя в газете или услышав по радио о чьей-то смерти, я то и дело наталкиваюсь на пояснение: умер от инфаркта, или от обширного инфаркта, или от разрыва сердца – что, по-видимому, то же самое. А тут не просто обширный – громадный! Да еще, как выяснилось, с какими-то ужасными осложнениями, каким-то мудреным синдромом. По всем правилам должен был я покинуть этот мир, а вот, поди ж ты, опять чаша сия меня миновала...

Странно, но чувствовал я себя великолепно. Ничто не болело, казалось, захочу и встану с кровати как ни в чем ни бывало. Но главное, у меня, почти по классику, была в мыслях ясность необыкновенная! Такого я не ощущал, пожалуй, с далекой студенческой поры, когда пару раз "в ночь перед экзаменом" пользовался чудодейственным лекарством – помню, оно называлось первитином (в первые послевоенные годы он пользовался успехом у студентов, но потом, видимо из-за его наркотического действия, был изъят из обращения). Я думал с необыкновенной быстротой, перебирал в памяти какие-то события, вспоминал книги, некогда читанные, а давнишние поездки картинно воспроизводились перед мысленным взором.

Делать мне было совершенно нечего. Чтобы занять себя, я стал приводить воспоминания в систему. Говорят, что перед смертью в мозгу человека проносятся вся его жизнь. Не знаю, да и проверить это невозможно. (Мой друг Вася Селюнин, испытавший однажды клиническую смерть, говорил мне: «Ничего интересного я там не увидел!»). Здесь было нечто иное. Я сам, сознательно направляя свои мысли. Но

едва я вспоминал какое-то событие, оно наполнялось деталями, которые, казалось мне, я давно и навсегда забыл. Наверное, по журналистской привычке стал сводить впечатления и мысли в куски, придумывал им заголовки, иногда, как мне казалось, довольно выразительные. И все это с невероятной быстротой. Когда спустя некоторое время я поделился впечатлениями обо всем этом с сыном Митей, он предположил:

– Это тебя, наверное, накачали наркотиками для обезболивания.

Все может быть...

В реанимации меня «вели» два врача, посменно. Они были очень разные. Один лысоватый, в очках, ужасно серьезный. Мне не сказал за все время ни слова. Ослушает меня, потом уставится в монитор, долго-долго рассматривая бегущие зигзаги, о чем-то думая. И, круто повернувшись, уйдет.

Другой – жизнерадостный коренастый крепыш с густой шевелюрой, подходил, тоже ослушивал, потом удалялся, лишь мельком взглянув на экран. Однажды, на третий или четвертый день, он вдруг обернулся. Лицо его осветилось улыбкой, и он показал мне большой палец! По-видимому, этим выразительным жестом он хотел сказать:

– Всё, угроза миновала. Отбой.

Вот тогда я и решил, наконец-то, уступить многолетним настояниям домашних и особенно Мити, увлеченного историей семьи, дал себе слово написать воспоминания, мемуары, назвав их не мудрствуя лукаво: "Путь к инфаркту". Вряд ли я имел в виду серьез разобраться, какой же такой образ жизни, какие внешние обстоятельства и внутренние переживания постепенно, год за годом подтачивали, подгрызали мое многострадальное сердце, почему действительно получилось так, что вся моя предшествующая жизнь была всего лишь путем к инфаркту. Просто так сложилось. Потом я, конечно, понял, что название это неудачное...

Начал писать...

(Правда, не для печати, а для семейного архива; о публикации одной из глав задумался только в связи с подготовкой к 60-летию Победы: генеральских мемуаров много, книг о героях войны – горы, а вот записки, показывающие те события, так сказать, *с самого низу*, какими они виделись глазами простого, ничем особенно не отличившегося рядового бойца-пехотинца – такие записки, кажется, мне не попадались).

Я убит в подмосковном лесу

Лежа на больничной койке я вдруг увидел картину шестидесятилетней давности. Картину почти совершенно черно-белую: белый снег вокруг, серое небо на фоне черных ветвей над головой. Белые стволы берез и белые маскхалаты однополчан, раскрашенные в белое повозки немцев и их серые шинели. И только одно огненно-красное пятно делает для меня картину цветной: кровь, хлещущая у меня изо рта, пропитывая пригоршни снега, которыми я безуспешно пытаюсь остановить ее. Постепенно сознание мутнеет... Немецкая пуля попала мне прямо в рот, выбила зубы и, чиркнув по сонной артерии, продолжила свой полет.

Так я погиб среди белых подмосковных снегов. Случилось это 18 января 1942 года в районе станции Износки железной дороги Калуга – Вязьма.

Что же дальше? Как писал поэт, отряд не заметил потери бойца... Бой был выигран. И война шла своим путем, закончившись Победой 9 мая 1945-го.

Жизнь продолжалась. И вот еще одна картина, которая мне привиделась. Наша квартира, которая была добыта бабушкой Натальей Петровной, традиционно обильный праздничный стол. Вокруг него семья: трое детей (Наташа всегда об этом мечтала), гости. Вот только никак не могу разглядеть: кто же это

сидит рядом с ней – темное пятно. Каков он, ее муж? Высокий или небольшого роста, худой или толстый? Красивый или не очень?

Отмечают какую-то годовщину Победы, может быть десятую, а может, тридцатую. И, как принято, пьют не чокаясь за тех, кто не вернулся с войны. Наташа провозглашает тост за мальчиков из нашей школы. Вспоминает гениального Колю Ботягина, обаятельного Ассена Драганова, перечисляет многих других.

– А еще, вспоминает она, был у нас такой Леня Лопатников, довольно способный парень, хотя и зазнайка, редактор школьной стенгазеты. Он даже немало ухаживал за мной, дарил мимозу на 8 марта и приглашал в театр...

И она улыбнулась своей тонкой улыбкой (кончики губ чуть-чуть загибаются вверх), улыбкой, которую я так люблю...

Увидев это, я расплакался. Во сне...

Я не погиб! Я потерял очень много крови; мне влили, говорят, двойную порцию. Признав "нетранспортибельным", не отправили в сибирский тыловой госпиталь, как многих товарищей по несчастью, а оставили в Москве. Положили, помню, вместе с одним искалеченным офицером в кабинет главврача спокойно умирать. Но выходили! Об этой эпопее я еще, наверное, расскажу.

И еще: когда лежал в госпитале, своими глазами читал запись в истории болезни: "В выходное отверстие видно биение сонной артерии". Значит, ошибись немец на каких-нибудь миллиметр-полтора, и некому было бы писать эти воспоминания.

Вот почему я упомянул вначале, что 28 февраля 2001 года, когда случился инфаркт, мне выпало второй раз вернуться с того света. Первый раз был тогда, в заснеженном лесу, в январе сорок второго.

Вот почему я всегда делил свою жизнь на две, в конечном счете ставшие очень неравными жизни: до и после ранения. А теперь возникла еще одна, третья.

Будет ли она долгой или короткой, мне не ведомо. Хотелось бы успеть еще кое-что сделать, в том числе и завершить эту рукопись.

Жизнь первая, короткая

У меня отвратительная память, если иметь в виду память на факты и события собственной жизни. Например, каким я был и что делал в школьные годы, моя любимая жена Наташа, с которой я прожил всю жизнь, помнила (увы, об этом приходится говорить в прошедшем времени, так как теперь, в глубокой старости, у нее память резко ослабла) намного лучше меня и порой рассказывала мне эпизоды, в которых я участвовал и которые начисто забыл. В чем-то другом бог меня памятью не обидел, в школе я прочно усваивал математические и физические формулы, мог "на память" нарисовать подробную карту Франции или, скажем, Китая, мне легко давались языки, причем не только в детстве (что бывает часто), но и в зрелом возрасте, что считается большой редкостью.

А вот в этом, увы! Я недавно (эти строчки писались вскоре после инфаркта) прочитал мемуары Андрея Кончаловского и скончавшегося год назад моего старого знакомого профессора Ефрема Майминаса. Прочиталносящую характер воспоминаний книгу моего друга (ныне тоже покойного) Павла Волина "Человек-антилегенда". И позавидовал всем им белой завистью: первый (на то он и режиссер, конечно) помнит давние свои встречи с разными людьми не просто до деталей – он воспроизводит обстановку, диалоги, реплики... Второй смог не только перечислить всех своих одноклассников, но "рассадить", кто в каком ряду и за какой партой сидел... Третий пересказывал заседания редколлегии "Литературки", как будто они были вчера. Я ни на что подобное не способен!

Поэтому я лишь бегло, конспективно, используя

некие зарубки на памяти, которые все же уцелели, расскажу о своей первой жизни. К тому же она существенно короче, чем вторая: всего-то восемнадцать лет.

Итак, я родился 24 марта 1923 года в Москве, в роддоме номер 6 имени Крупской на Тверской-Ямской, где много позднее родился и мой первенец Сережа. У мамы я был вторым ребенком: первый, Макс, родился в 1921 году. Мои родители приехали из Саратова, куда они были эвакуированы из Ревеля во время первой мировой войны. Они жили на Тверской, позднее улице Горького, дом 26 (точнее, 6б: незадолго до войны или сразу после нее – забыл! дома были перенумерованы). Сейчас на его месте, собственно, на его же фундаменте стоит шикарный отель "Палас", в котором, в один из своих приездов в Россию, останавливался даже американский президент Клинтон. Сам же дом был старинный, четырехэтажный, лишь в тридцатые годы надстроенный еще на два этажа (было в Москве такое поветрие – надстройки; стены у дома были толстые, могли выдержать и не два этажа, а больше). По легенде, в нем гостил у кого-то из друзей Александр Сергеевич. Поэтому я вправе шутить: в доме 26 по Тверской улице жили Пушкин, Клинтон и я. Или так: мы с Клинтоном и Пушкином жилали в этом доме...

Наша квартира 19 была огромной московской коммуналкой на семь или восемь семей. Когда-то она принадлежала одной семье московского юриста по фамилии Чернай. Их, как говаривали после революции, «уплотнили». Некоторое время они жили в двух комнатах, вместе с нами, но потом неведомо куда девались, а комнаты эти заняла семья Троицкого, человека с четырьмя ромбами из ОГПУ. Он был в отставке. Человек болезненного вида, немногословный, он как-то уцелел в годы, когда такие люди редко избегали ареста.

Комната, в которой я прожил с двумя довольно

продолжительными перерывами (Эстония и война) до самой женитьбы на Наташе, была последней слева в длинном коридоре, в конце которого была постоянно вонючая уборная. Вот эту деталь, несмотря на свою плохую память, я запомнил натвердо. В другом конце квартиры была кухня, где наш столик стоял у окна, а справа была большая дровяная плита. Из кухни вела дверь на черный ход, по которому жильцы спускались в подвал за дровами.

По рассказам мамы, родился я слабеньким, недоношенным, так что можно только удивляться, как меня угораздило дожить до 78 лет (это когда я начал писать – теперь мне 89!), да еще несмотря на два почти состоявшиеся перехода в мир иной.

Может быть, сказалась наследственность: мама умерла, не дожив 12 дней до девяноста лет. А сколько прожил бы отец, если бы не годы, проведенные в знаменитом СЛОНЕ, Соловецких лагерях особого назначения, одному Богу ведомо.

Впрочем, как и положено, расскажу о родителях чуть подробнее. Оба они из Ревеля (Таллинна). Мама родилась в 1893 году, в семье совладельца консервной фабрики Зелика Шварца. Они жили на улице Пикк в здании, где теперь расположено управление Эстонской железной дороги. Мы с Наташей много раз проходили мимо него, но зайти не приходило даже в голову. Семья была большая: у мамы (ее звали Софья Захаровна, а не Зеликовна – так звучало более привычно для русского уха) были две сестры, Евгения и Зельма, и три брата: Иосиф, Леонид (потом принявший отчество Владимирович, в честь Ленина) и рано умерший от туберкулеза Артур. Сейчас большинство из них, включая маму, покоятся на еврейском кладбище Рахумяэ, в Таллинне. Там же, кроме многочисленных табличек с фамилией Шварц, есть и таблички с фамилией Лопатников. Прежде всего, конечно, назову мою любимую бабушку Ревекку Файнштейн-Лопатникову, мать моего отца Исидора Павловича Лопатникова (Файнштейн – фамилия ее второго му-

жа), а также их сына Макса, погибшего в войну. Далеко от этого кладбища, в Израиле нашли упокоение их дочери, мои тети Рая и Анна, умершие в очень почтенном возрасте в Тель-Авиве. К Анне с детства приклеилось домашнее ласковое прозвище Бэби, так что иначе как тетя Бэби я ее никогда не называл. Более того, грешен, я очень долго даже не знал, как ее зовут на самом деле! Тетя Рая была скрипачкой, тетя Бэби – пианисткой, учительницей музыки. В Тель-Авиве есть парк из 75 деревьев, высаженный благодарными учениками в честь ее 75-летнего юбилея.

Бабушка была незаурядным человеком, о ней даже есть страничка или две в книге об истории евреев в Эстонии: отмечалась ее бурная общественная деятельность (музыкальный педагог, она организовывала школы для еврейских детей, помогала многим нуждавшимся в поддержке). Вообще в смысле общественной деятельности семья Лопатниковых была известной в дореволюционной Эстонии: в той же книжке эта фамилия упоминается неоднократно. Двое из моих предков были, оказывается, руководителями местной еврейской общины. Один из прадедов был основателем Ревельской синагоги. В книжке очень красочно описывается ее открытие: как торжественно (современный читатель ни за что не поверит – с воинским эскортом!) вносили в нее свиток Торы, какой бал был дан по этому случаю с участием губернатора, причем не где-нибудь, а в доме Лопатникова...

Несколько необычно то, что бабушка, когда выходила замуж за Павла Лопатникова, тоже носила эту фамилию: двоюродные брат и сестра полюбили друг друга. После свадьбы они эмигрировали в Америку и там, в Нью-Йорке, родился мой отец.

Но что-то у молодых супругов не заладилось, и бабушка, забрав сына, вернулась в Ревель. Там в скором времени и вышла за Арона Файнштейна, который, несмотря на отсутствие между нами кровной связи, был моим единственным и любимым дедуш-

кой (уж не знаю почему, но хотя в Таллинне жил и мой дед по маминой линии, я его практически не знал).

Кроме того, есть на Рахумяэ могила Леопольда Лопатникова, инженера. Ему Эстония обязана строительством Ревельской железной дороги. (Кстати, по семейному преданию, достоверность которого я не проверял, строителем Ревельского порта еще при Петре I был тоже Лопатников, из того же рода). Сын Леопольда Николай Лопатников эмигрировал в США и стал известным американским композитором.

Таллинское еврейское кладбище удивительно тихое, ухоженное, спокойное. Мама завещала похоронить там ее прах. Если бы знать, что скоро между нами проляжет граница... Мы с братом Максом и с Наташей в прежнее время регулярно ездили к ней, позднее же не только из-за границы, но и просто из-за нашего возраста эти поездки, к сожалению, стали реже. А теперь, после инфаркта, я и вовсе не знаю, можно ли мне будет совершить такое путешествие.

Не только могилы влекут меня туда, в Эстонию. Судьба связала меня с ней крепчайшими эмоциональными узами. Выходя из поезда в Таллинне я даже теперь, когда это, казалось бы, чужая страна, чувствую себя дома. Дышу знакомым воздухом, радуюсь знакомым очертаниями крепостных стен, длинного Германа, откосов Вышгорода со сбегаящими по ним крутыми ступеньками... Мне все там родное, как, наверное, любому человеку может быть родной страна его детства.

Так оно и есть. Дело в том, что мой отец, сильный шахматист, был рефери (это нечто в роде судьи) на знаменитом Московском международном шахматном турнире 1925 года. Много лет спустя в документальных кадрах, включенных в нашумевшую в свое время комедию "Шахматная горячка", мы могли видеть отца в кругу легендарных гроссмейстеров Капабланки, Ласкера и других на сцене, где были расставлены турнирные столики. Отец имел неосторожность об-

щаться и даже подружиться с некоторыми иностранными участниками турнира, приглашал их домой. Возможно, здесь сыграло роль и то обстоятельство, что отец свободно владел немецким языком. Среди имен его приятелей, которые вспоминала мама, было, например, имя чехословацкого гроссмейстера Рети. Между прочим, мама рассказывала, что последней квартирой, которую посетил перед отъездом за границу великий шахматист Александр Алехин, была наша квартира.

Надо ли удивляться, что однажды за отцом пришли? Впрочем, в семейных легендах есть и еще одна версия: якобы отца забрали и бросили в Соловки за то, что он посещал своего одноклассника, оказавшегося в Москве в качестве сотрудника Эстонского посольства, и играл с ним все в те же злополучные шахматы. (Кстати, после лагерей, отбывая ссылку в Казахстане, он стал первым чемпионом республики. Последние годы жизни он провел в Ярославле).

Узнав о случившемся и понимая, как трудно маме будет одной поднимать двух мальчиков, бабушка предложила взять нас к себе. Так я оказался в Ревеле, где и прожил до 1931 года (Макса мама забрала раньше, когда ему подошел срок поступать в школу. Она хотела, чтобы образование мы получили в Москве.)

Мы жили в доме на Татарской улице, 20. Теперь эта улица называется Татари. Надо отдать справедливость: вопреки, в чем-то, наверное, и справедливый, разговорам о политике руссификации Эстонии советскими властями, большинство русских названий в Таллинне (как и само название Ревеля) были заменены эстонскими именно в советский период. А тогда я проходил через Глиняные ворота по Глиняной улице (теперь Виру), удивлялся Толстой Маргарите, меня угощали в кондитерской, что на Длинной улице (теперь улице Пикк), гулять возили в Екатериненталь (Кадриорг) и купаться в Бригитовку (Пирита). Кстати, Екатериненталь немецкое слово, сохранившееся еще

от Петра Первого. Но дома у нас и другие названия произносились обычно по-немецки. Не все помню, но, например, Lange Hermann, Dicke Margarete, Olaikirche и некоторые другие в памяти сохранились.

Немецкая культура, как я теперь могу оценить, оказывала большое влияние на жизнь нашей семьи. Не знаю, как насчет более далеких предков, отличавшихся, как я упоминал, на религиозном еврейском поприще и возводивших синагоги, но семья была совершенно светской. Никто не ходил в синагогу, и меня тоже ни разу, насколько я помню, не водили туда. А на идиш не говорили вовсе: в доме звучала немецкая речь и немецкая музыка. Или же русская речь и русская музыка. В памяти осталось, как бабушка, держа меня на коленях и аккомпанируя себе на рояле, пела "Erlkonig" Гете: "Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind..." И я пугался... А дедушка любил рассказывать русские сказки и сыпал мудростями и поговорками, которые я запомнил на русском языке (даже если исходно они были немецкими), вроде "Одним махом семерых побивахом", «Неготовое дуракам не показывают», "В семейном споре первым уступает тот, кто умнее". Но, помню, от него же я познакомился со сказками братьев Грим, Хауффа, Андерсена – все это, естественно, по-немецки.

Дедушка Арон Файнштейн работал главным бухгалтером какой-то фабрики, дом у нас был уютный и довольно просторный (но как объяснила однажды много позднее тетя Бэби, он не был собственным, дедушка его арендовал). Что касается меня, то я очень рано научился читать и по-русски, и по-немецки и любимым моим местом, где я проводил дни напролет, была богатая дедушкина библиотека, размещавшаяся наверху, в мезонине.

Самая большая комната была внизу, у нее был необычный пол на двух уровнях: примерно треть его была приподнята, ненамного, но все же получалось нечто вроде эстрады. На ней стояли рояль, три или четыре стула с пюпитрами. Каждую неделю здесь со-

бирались многочисленные члены семьи и гости, тоже любители музыки. Звучали квартеты и квинтеты, сольные этюды, старинные романсы.

Все это я впитывал своим детским сознанием, многое с тех пор так и закрепилось в моей музыкальной памяти – например, замечательная рождественская песня "Stille Nacht", которую до сих пор не могу слушать без волнения.

Впрочем, для детей были и специальные развлечения. Бабушка устраивала для меня и моих друзей, в основном соседских ребят, праздничные вечера, для которых мы готовили целые маленькие спектакли и концерты. Например, помню, я разыгрывал с кем-то из друзей басню Крылова "Демьянова уха". Склеивали и потом надевали разные бумажные шапочки и маски, устраивали карнавалы.

Большим развлечением для меня были летние дни, когда бабушка во дворе под каштаном разводила костер и варила в ярко начищенных медных тазах варенье. Детям, конечно, доставались вкуснейшие пенки... Прекрасные каштаны эти в последний раз, когда мы приезжали в Таллинн, еще стояли в опустевшем после сноса дома дворе. Что с ними случилось сейчас, не знаю.

Летом во дворе вообще было оживленно. Муж тети Раи дядя Лева (Лев Драбкин) был предпринимателем в Берлине. Он изобрел игру типа бильярда, только без шаров, а с деревянными кольцами. Она называлась «Корона». Образец своей продукции он как-то летом привез в Ревель и мы все, взрослые и дети, дулись в эту «Корону», установленную во дворе, с утра до вечера. Я рано начал кататься на взрослом велосипеде (просовывая ногу через раму) и вообще вел себя как нормальный, в меру шаловливый мальчишка. Впрочем, видимо, не всегда в меру! Сохранился дровяной подвал в соседнем доме, куда дедушка однажды посадил меня за какую-то провинность, а я, вместо того, чтобы смириться, еще добавил: нашел топор и стал рубить им дверь. Чем все это кончилось,

не помню, но сарай, дрова, топор, зеленую дверь помню очень хорошо.

В шесть лет я пошел в гимназию не немецкую, как можно было ожидать, а русскую. Она находилась недалеко от нашего дома, на улице Харью. Как я понимаю, надо было выйти с Татари на площадь, потом пройти до Харью по бульвару. И вот одно важное детское впечатление. По бульвару тогда ходил трамвай – один небольшой вагончик. Я не ездил на нем, но всегда с нетерпением ждал, когда он появится. Позднее, когда мы ехали в Москву и по мосту пересекали какую-то улицу в Ленинграде, огромным потрясением для меня было увидеть трехвагонный трамвай. До сих пор, закрыв глаза, могу внутренним взором увидеть эту сцену: из-за поворота выплывает трамвай и исчезает под нами, под мостом... Так велико было это событие для восьмилетнего мальчика.

В Ревеле событием для меня, помню, был визит легендарного ледокола «Красин». Весь город, и мы в том числе, высыпал на берег, разглядывая корабль, стоявший достаточно далеко на рейде. Никого и ничего разглядеть было невозможно, но все стояли и чего-то ждали... А вот другое событие, лично для меня, наверное, во много раз более важное, я начисто забыл. И не вспомнил бы, если бы не чудом сохранившаяся программка фортепьянного вечера учеников класса Анны Файнштейн, где черным по белому написано: вальс (композитора по фамилии Лев) исполняют в четыре руки Леня Лопатников и Лева Брашинский (это был мой друг, его я как раз помню). Многое обретенное в жизни я потом растерял, но это была одна из важных потерь: когда я вернулся в Москву, мама не смогла продолжить мое музыкальное образование; не было у нее на это денег, не было инструмента.

Значительно дольше удержалось в моей жизни другое таллинское приобретение: немецкий язык. Хотя никаких уроков мне не довелось получать, к войне я пришел со свободным владением языком, что

сослужило, об этом я еще расскажу, кое-какую службу. Потом я довольно много читал по-немецки, переводил, зарабатывая на этом, но вот разговаривать было не с кем, да и небезопасно. Лишь пару раз, бывая в Будапеште и в том же Таллинне, сподобился перекинуться фразой-другой с людьми старшего поколения (молодежь и в Венгрии, и в Эстонии, к немецкому языку не приобщились). Вот и вся практика!

Что же удивительного, что я, когда-то не только говоривший, но думавший по-немецки, на днях обнаружил, что не в состоянии сформулировать какую-то простейшую фразу?

Вот это, наверное, самое обидное в жизни: потеря того, чему когда-то научился, что когда-то знал и умел. Тот же дедушка правильно втолковывал мне, что «повторение мать учения», а много позже, уже не от него, я узнал другую житейскую истину: без употребления оружие ржавеет.

И вывод, который я могу сделать из воспоминаний о начальном периоде моей жизни, прост: всеми силами надо поддерживать то, что тебе дано с детства, чтобы сохранилось это до старости. Мне, к сожалению, это удалось далеко не во всем.

В деревне

Когда Макс, который был на два года старше меня, исполнилось восемь лет, мама забрала его в Москву, в школу. Она ни в какую не соглашалась с предложением бабушки оставить меня в Ревеле и воспитывать до окончания школы. Как и в случае с Максимом, она хотела, чтобы я получил образование в Москве. В 1931 году мне тоже исполнилось восемь лет. Осенью предстояло сесть за парту. (Сказано образно, но не точно: на самом деле я за партой уже сидел два года, просто законы в двух странах были разные!).

Совпало так, что моя бабушка по материнской линии, незадолго до того потерявшая мужа Зелика – моего деда, решила переехать в Москву, к детям. Здесь жили моя мама и ее сестры старшая тетя Женья, младшая тетя Зельма, а также брат Леонид, которого мы звали дядя Лео. Желание пожилой женщины перебраться сюда было более чем естественно.

Было это летом. Посадили меня в поезд с бабушкой, которую я и знал-то довольно плохо. Последний раз оглядел из окна такие родные откосы Вышгорода и замыкавшую их башню Lange Hermann... Единственное, что скрашивало ситуацию – сам факт путешествия. Любовь к странствиям у меня была, видимо, в крови, меня всегда толкала к ним любознательность, или просто любопытство: всегда хотелось знать, что там, за поворотом! Уж сколько я в своей жизни объездил по Союзу и потом, когда появилась возможность, за его пределами, не перескажешь! Но что мог запомнить восьмилетний мальчик? Трехвагонный трамвай, о котором я уже упоминал. Да еще белую красивую собачку из марципана, которую кто-то из родных, по-моему, тетя Бэби, подарил в утешение. Еще я вез с собой несколько любимых книг, среди них толстый том Фенимора Купера "Lederstrumpf", "Кожаный чулок", в котором были собраны пять знаменитых романов об индейцах: "Следопыт", "Последний из могикан", "Зверобой" и другие.

Перед школой я провел примерно месяц в деревне, где в первый и последний раз прокатился верхом на лошади: мальчишки посадили меня на нее и отпустили на все четыре стороны. Сначала она шла спокойно, а потом, увидев вдалеке табун, помчалась во всю прыть. И я кубарем свалился в канаву, хорошо еще голова осталась цела!

Было это в деревне Пузырево, в восемнадцати километрах от станции Завидово Октябрьской железной дороги. Добирались туда на подводах. Там у маминой домработницы Кати был дом-развалюха с запущенным садом. Я у нее впоследствии много лет

проводил каникулы (когда не ездил в пионерские лагеря).

Катя – Екатерина Ефимовна Ефимова была человеком своеобразным, как говорили тогда "командиршей в юбке". Нас с Максом она держала в строгости, если не сказать большего. Порой могла за провинность огреть ремнем (с этим я покончил лишь когда мне было уже лет пятнадцать: однажды схватил ее за длинную косу, пригнул к полу и жестоко избил). Но все же она по своему любила нас, сделала для нас много хорошего, и сегодня я вспоминаю ее с добрым чувством. Она была настоящей хозяйкой в доме, потому что мама работала в двух поликлиниках: одна была на Остоженке, другая у Старообрядческого кладбища. На трамвае через всю Москву каждый день, в любую погоду! Она передоверила наше воспитание Кате и была за нас спокойна. К тому же Катя замечательно готовила из того немногого, что у нас было. Питались мы скудно, ели хлеб не с маслом, а с повидлом, только к праздникам покупали вареную колбасу. Но на праздники Катя вставляла ни свет ни заря, шла на кухню и уже к нашему подъему на столе посреди комнаты дымились пироги с капустой, пирожки с картошкой, удивительный хворост и другие необыкновенно вкусные вещи. Еще, помню, делала она картофельные котлеты с грибным соусом, кисели из брусники и много другой подобной вкуснятины. Грибы, бруснику, яблоки, картошку она привозила из деревни.

Пузырево располагалось как раз в том удивительно красивом месте, где река Лама впадала в Шошу. На Ламе была мельница с глубоким и темным омутом. А ниже река текла спокойно, один берег был высокий, поросший ивняком, другой низкий, с песчаными косами, где было замечательное купанье. Этот берег был противоположный деревне, и мы переходили туда вброд. По Ламе мужики обязательно раз за лето ходили с неводом. В этом действе участвовала вся деревня, включая ребятшек. Рыбы добывали много:

сомов, щук, окуней, язей, налимов, ершей... На нескольких подводах привозили их в деревню, к пруду (деревня представляла собой просто одну улицу, которая в самой середине расширялась и давала место выкопанному небольшому пруду, над которым склонялась развесистая ветла.) Там рыбу раскладывали по "пайкам": сначала делили крупную рыбу, потом добавляли мелочь, чтобы все было по справедливости. Но уравниловки не было: по две-три пайки давали тем, кто вложил более всего труда, особенно ныряльщикам, которые отцепляли невод от всяких коряг и других препятствий. По пайке – тем, кто тянул невод. По полпайки давали просто так, всем, кто шел по берегу за неводом и подбадривал рыбаков криками. В общем, получалось, что сколько-то рыбы доставалось всем жителям деревни. Не всегда эта дележка проходила без приключений. Помню, однажды на подводе привезли ко всеобщему восторгу громадного сома, в человеческий рост. Только его распутали, он съехал с подводы и запрыгал... к пруду! Еле-еле мужики, навалившись на беглеца, остановили его.

Вообще, пребывание в деревне дало мне очень много в смысле познания русской жизни, как ее духовной, так и просто бытовой стороны. Я всегда шутил над Наташей, говоря, что я, еврейский «мещанин» (как тогда писали в анкетах), намного лучше знаком с русской жизнью, чем она, исконная русская дворянка. Откуда бы ей знать, как растапливать русскую печь и томить молоко в крынке, как готовить драчену, что такое ухват и как им управляться? А уж такие слова как загнеток, гумно или дранка (кстати, предел мечтаний для пузыревских крестьян, поголовно живших под соломенными крышами), ей и во все неоткуда было услышать. Если еще вспомнить удивительно образный язык, каким говорили Катя и ее земляки – такое богатство русской культуры открывается, какого ни в одном университете не познаешь. Если не расслышишь чего-то, на обычный вопрос "А?" немедленно следовал ответ: "Вороне кума,

галке крестница – тебе ровесница", Или такое: утром, когда надо собираться в школу: "Вставай, проспишь Царствие Небесное!"...

Только не ищите Пузырево на карте – такого названия там сейчас нет. Деревню где-то в 1935 или 1936 году уничтожили, вместе с десятками других сел и деревень. Уничтожили, расчищая место для будущего "Московского моря", которое сейчас плещется о насыпь Ленинградской железной дороги в полутора часах езды от Москвы. Дома были перевезены на новое место, уже не в восемнадцати, а в девяти километрах от Завидова, где образовался поселок, который назвали Ворошиловским, а позднее просто Рабочим. Надо отдать справедливость, дом Кати был по существу построен заново, потому что из сруба у нее осталось вряд ли больше десятка здоровых бревен. Кроме того, в поселке было электричество, о чем в Пузыреве и не мечтали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

В первое, дошкольное лето я вдоволь накупался, набегался со сверстниками по полям. А еще вдосталь наелся яблок – их в деревне, пока не было колхозов и не прошел по нашей земле современный Мамай, были буквально горы. Яблоки были всех мыслимых тогда сортов: барвинка, антоновка, анисовка, белый налив, китайка. Только на соседнем с нашим участке, принадлежавшем родной сестре Кати, тете Шуре, было аж 75 яблонь. При переселении все это богатство было брошено. Причем произошла какая-то ошибка: место, где была расположена деревня, вопреки расчетам, под воду не ушло. Первое время сады формально даже охранялись. Туда ездили за яблоками и бывшие пузыревцы, и посторонний люд. Потом по этим местам прошла война. Постепенно сады одичали. Что там сейчас – не знаю.

В школе

Первого сентября 1931 года, построившись во дворе и взявшись по паре за руки, будущие первоклассники поднялись по полукруглым ступенькам крыльца в школу.

Смело скажу: школу не обычную. Недаром в США даже вышла книга историка Ларри Холмса под названием: "Сталинская школа. Московская образцовая школа № 25. 1931 - 1937 годы". Совпадение: это почти все те годы, которые я провел в стенах этой школы. В 1936 меня перевели в другую, построенную в соседнем переулке школу № 167, а двадцать пятая год спустя была переименована в школу № 175 и теперь известна под этим номером.

"Сталинской" Ларри Холмс назвал школу не случайно: именно в ней учились дети «вождя всех времен и народов»: дочка Светлана (на два класса младше нас) и сын Василий (на три класса старше). В списках учеников школы можно было бы обнаружить много знакомых каждому современнику имен: Сергей Берия, Светлана Молотова, Сергей Буденный, Марта Готвальд и Марика Ландлер (дочери генсека Чехословацкой компартии и руководителя Венгерской компартии, похороненного в Кремлевской стене – если кто не помнит)... Словом, это была, как тогда говорили, привилегированная, а теперь сказали бы элитарная школа, каких насчитывалось, может быть, две или три на всю страну.

Сам я попал в нее просто потому, что жил рядом: через один дом, если считать по Старопименовскому переулку. И одноклассники мои делились на две категории: одни жили по соседству, другие приезжали из разных районов города. Надо сразу сказать, что это деление никак не отражалось на наших отношениях между собой. Например, моими лучшими друзьями на всю жизнь остались Яша Киршенбаум, с которым мы, бывало, переговаривались (точнее - перекрикивались) из окна в окно через переулок, и не-

давно скончавшийся Лева Гутман, который жил напротив Центрального телеграфа (его отец был крупным хозяйственником, директором машиностроительного завода). Да и Наташа Крашенинникова, ныне Лопатникова, которая пришла к нам в школу в четвертый класс, жила отнюдь не в нашем микрорайоне (но ее отчим Валериан Савельевич Довгалеvский был похоронен не где-нибудь, а в Кремлевской стене на Красной площади, и это естественно включало ее в глаза руководства школы в клан избранных). В нашем классе тоже учились дети достаточно известных людей (я беру первый класс в целом, без деления на "а", "б" и "в", потому что в течение десяти лет нашей учебы классы много раз перетасовывались, делились, сливались, а мы все равно продолжали дружить, считали и продолжаем считать себя одноклассниками). Назову дочь тогдашнего наркома просвещения А. Бубнова (она исчезла, когда отца репрессировали, но осталась жива – я узнал об этом из той же книги Холмса). Учились со мной до самого окончания школы (как я говорил, уже не 25-й, а 167-й) Виктор Авербах, сын председателя Союза писателей СССР Леопольда Авербаха и внук ближайшего друга Ленина В. Бонч-Бруевича, чью фамилию он принял, когда его отца тоже репрессировали и расстреляли, Женя Пастернак, сын великого советского поэта, Олег Бабушкин, сын знаменитого полярного летчика. Не с первого класса, но позднее, после челюскинской эпопеи, к нам пришел Володя Баевский, его отец был заместителем начальника легендарной экспедиции Отто Юльевича Шмидта, но вскоре, как многие тогда, тоже был репрессирован. Кстати, дети самого Шмидта тоже учились в нашей школе. Один из них, Володя, был пионервожатым нашего класса, мы все очень любили этого обаятельного юношу, а некоторые девочки просто были в него влюблены.

Вот когда построили 167-ю школу, отбор был проведен по совершенно отчетливому признаку: в нее перевели всех детей репрессированных родите-

лей и тех, кто в привилегированную школу попал, как я, без всяких привилегий. Наташа перешла туда только по своему настоянию: ей не хотелось расставаться с любимой подругой Верой Таращанской, с которой наша дружба продолжалась до последнего времени, хотя, увы, по телефону: лет двадцать назад Вера с семьей переехала в США. В США сейчас и Яша Киршенбаум, там же умерли Инна Буданицкая и Ира Зинабург, жившая в моем подъезде на четвертом этаже, в Киеве живет Сергей Вегер, в Ереване недавно скончалась Вера Миткевич. Увы, уже давно ушел и муж Веры, чудесный парень Ким Арто (была еще одна семья одноклассников, как наша с Наташей). Арто – «партийная кличка» высокопоставленного и очень «засекреченного» отца, настоящее имя Кима было Сурен Газарян. Рано скончался, и много перестрадавший в лагерях и ссылках Шура Азарх. Недавно ушли от нас ближайшие, бесконечно дорогие нам Неля Корогодская и Лева Гутман. Уж не говорю о сверстниках, не вернувшихся с полей войны: Ассене Драганове, Коле Ботягине (он, правда, пришел к нам позже), Сергее Розанове – тоже из моего подъезда, Володе Панкове, Павле Логинове и других... Разметало нас... Пушкин удивительно сказал: "иных уж нет, а те далече".

Но вот немаловажный факт: многие из тех, кто вместе со мной переступили 1 сентября 1931 года порог школы, сохранили дружбу на всю жизнь. Мы регулярно собирались, сначала сразу после войны в школе, потом, помню, один раз у Бэллы Граник, другой у Яши, потом три или четыре десятилетия хотя бы раз в несколько лет собирались у нас с Наташей (порой приходило до двадцати человек), потому что наша квартира была самой большой. Увы, сейчас уже почти никого не осталось...

Все перечисленные имена, конечно, будут много раз встречаться в этих воспоминаниях. Обо всех можно рассказать массу интересного. Вот только не знаю, удастся ли это, хватит ли сил и времени.

Но вернусь в 1931 год. Привела нас в класс на третьем, тогда последнем этаже (тогда, потому что позднее школу надстроили, сейчас она пятиэтажная) учительница Евгения Карловна. Она была нашей классной руководительницей все четыре года начальной школы. Фамилию ее я, к сожалению, не помню, да, кажется и не знал: она была для меня просто Евгения Карловна, и все. Поскольку я уже два года отучился в Ревеле, в школе я больше бездельничал, да еще читал на уроках, пряча книгу под партой.

К пятому классу я стал довольно хулиганистым учеником. Тут мне "помогали" дружки Лева Гутман и Шура Азарх. Однажды мы учинили такую проказу: кому-то из нас, не помню, мне или Леве, вряд ли Шура, потому что он уже тогда был длинный как жердь, на руке мелом нарисовали свастику и... отпечатали ее сзади на юбке преподавательнице немецкого языка. К нам в класс пришла директор школы Нина Иасафовна Гроза («Бойся грозу в лесу, а пуще в классе!» – была у нас такая поговорка) и потребовала сказать, кто совершил этот проступок. Долго держала весь класс стоя, никто нас не выдавал, но в конце концов мы сами признались и были наказаны (как, уже не помню). Это только один пример. Маму не раз вызывали в школу за мое "блестящее" поведение. Однажды меня даже исключили на две недели из школы (чему я был рад). Наверное, исключили бы совсем. Но выручало меня только то, что я очень хорошо успеваю в учебе. В пятом классе мой портрет (сделанный, кстати, известным фоторепортером Фатей Гурарием, чем горжусь) даже вывесили на Доску почета. Мама принесла его домой и он до сих пор сохранился в нашем альбоме.

А в конце пятого класса вообще случился казус. По случаю окончания учебного года вся школа собралась в зале Театра юного зрителя, который до сих пор находится в Мамоновском переулке. Поздравив всех с переходом в следующий класс, директриса начала перечислять лучших учеников. Зал охотно хлопал в

ладоши. В заключение Гроза назвала двух девочек, сестер Скоробогатовых, у которых были одни пятерки (то есть отметки "очень хорошо", пятерок тогда не было). Они были награждены уж не помню какой премией. Потом директриса сказала: Еще у нас есть Леня Лопатников из пятого "В", у которого тоже по всем без исключения предметам стоит "очень хорошо...". Тут мои одноклассники зааплодировали и закричали "Ура!". Но Гроза их остановила: Лопатникову премии не полагается, потому что по дисциплине у него только "удовлетворительно".

Надо сказать, что в те времена "удовлетворительная" оценка по дисциплине была редкостью. Считалось, видимо, что советские ученики в принципе не могут вести себя плохо. А тут еще в образцовой школе, на которую равнялась вся страна!

Словом, я доставлял немало хлопот учителям. Часто задавал каверзные вопросы, громко говорил какие-нибудь дерзости в классе, отказывался идти к доске, когда под партой была раскрыта особенно интересная книга... Да мало ли что мог учудить этот несносный мальчишка!

Когда в 1936 году в Москве готовился конгресс Коминтерна, конечно, приветствовать его должны были пионеры лучшей школы. Я тоже попал в их число. Несколько недель нас тренировали в каком-то павильоне Парка культуры и отдыха, там мы проводили целые дни, нас кормили, что по тем временам было немаловажно. Все было хорошо, но чуть ли не в последний день подготовки меня за какую-то провинность ... прогнажи. Так я и не попал на Конгресс.

В то весьма небогатое время здание 25-й образцовой школы каждое лето тщательно ремонтировалось, парты всегда были чистые, мастерские оснащены добротным инструментом, был даже кабинет изобразительного искусства с мольбертами и палитрами масляных красок, была собственная типография (правда, недолго). Все это немислимое для тысяч

других школ богатство финансировалось, как я понимаю, не только из бюджета. Тогда была распространена такая форма деятельности, как шефство предприятий и учреждений над школами. И у нас были «богатые» шефы: Наркомлес СССР (то есть, по современной терминологии, Министерство лесной промышленности) и полиграфический комбинат «Известия». Хорошо зная, *чьи* дети учатся в 25-й школе, руководители этих организаций не скупились. Вот несколько строк из книги того времени, пропагандировавшей «сталинскую» школу:

«Клуб (речь идет о пионерском клубе, который располагался в небольшом старинном особняке во дворе школы) заботливо и изящно обставлен. Прекрасная мебель – дар Наркомлеса, одного из шефов школы. Пионерский клуб получил ее после «беседы» пионеров Раи Облонской (десяти лет) и Жени Баранова (одиннадцати лет) с наркомом товарищем Лобовым»... Показушный характер этого эпизода, так привычный для описываемого времени, бьет, что называется, в глаза. Кстати, «пионерка Рая Облонская» стала известным переводчиком художественной литературы, и, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем (она много лет была прикована к постели), продолжала работать до последнего вздоха... Она скончалась недавно, в 2010 году.

С нашей пионерской комнатой – так она называлась, а вовсе не «клубом» - связано одно примечательное воспоминание. В этой пионерской комнате был большой стенд. Однажды – никогда не забуду – я увидел там два списка: отличники и двоечники. Такие списки вывешивались регулярно. Так вот, на одном из них я увидел среди отличников свою фамилию, а среди двоечников был Вася Сталин. Так мы с ним «пересеклись». А знаком я с ним не был

Шефы оснащали пионерский лагерь школы, который сначала был в селе Ильинское, недалеко от Малоярославца, а потом в деревне Махра (недалеко от станции Карабаново Ивановской области, где сейчас

восстановлен монастырь). Вот там я веселее всего проводил время! Я был в лагере три раза: один в Ильинском и два раза в Махре. Я вообще очень любил лагерь (в отличие от Наташи, которую нельзя было туда затащить на аркане!). Я любил построения на линейке и сигналы горна (у нас были в лагере совершенно замечательные горнисты, один из них старший брат Веры Таращанской Сема), с готовностью стремительно одевался по сигналу тревоги и бежал на линейку. Конечно, обожал сборища вокруг костра и песню о картошке:

"Дым костров, огней сиянье, янье, янье.

Серый пепел и зола, ла, ла.

Дразнит наше обонянье, нянье, нянье

Дух картошки у костра, ра, ра!"

И дальше:

Наши бедные желудки лудки лудки лудки лудки

Были вечно голодны, ны .ны

И считали мы минутки, нутки, нутки, нутки

До обеденной поры, ры, ры..."

Ах, картошка, объеденье денье денье

Пионеров идеал ал ал

Тот не знает наслажденья дняня дняня

Кто картошки не едал, дал, дал!»

Лагерь в Ильинском располагался на краю села в здании местной школы. Оно было окружено густым лесом. В этом лагере я был совсем маленьким мальчиком, после третьего или четвертого классов, и мало что помню. Но как потом будет рассказано, во время войны моя судьба пересеклась с этим местом, причем дважды: когда наш полк брал Ильинское и когда я был спустя две или три недели после этого ранен.

А вот Махра не могла не запомниться! И не только потому, что я уже был постарше, но главное, потому что место лагеря было совсем особенное. Это был старинный монастырский ансамбль, окруженный высокими кирпичными стенами. Говорили, что некогда там был филиал Троице-Сергиевской лавры, и что якобы там был подземный ход аж до Загорска

(мы искали его, но безуспешно). Наши спальни располагались в двух или трех кирпичных двухэтажных зданиях, одно из которых упиралось в стену, чем мы, сорванцы, не замедлили воспользоваться: устроили соревнование, кто голышом вылезет из окна на стену и пробежит по ней метров двести, где можно было по трубе спуститься в уборную, к этой стене примкнутую.

А еще в одну из первых ночей устроили переполох в девичьих спальнях: закутались в простыни, зажгли по свечке и пошли туда с гнусавым пеньем. Тот нагнали страху! Вся обстановка этому способствовала: длинные тени на сводах монастырских келий, крошечная темень кругом, шум густых и высоких деревьев за окнами... Мерцание темной воды в двух прямоугольных прудах, притаившихся внутри крепостных стен возле разбитой когда-то церкви или собора. На ее руинах, наверху, росли березки...

По вечерам, прежде чем заснуть, мы в палате по очереди что-нибудь рассказывали, причем обязательно в жанре, как сказали бы сейчас (тогда такого слова, кажется, не было), "страшилок". Рассказывали, помню, "Вия", "Собаку Баскервиллей", а кто-то и сам придумывал что-либо подходящее.

Монастырь стоял не то чтобы на берегу, но недалеко от небольшой, но очень красивой и быстрой речки. Когда ребятам удавалось поймать в ней рыбу (а она была обычно крупная), повар устраивал им торжественный обед. Им накрывали специальный стол в столовой – бывшей трапезной.

Наверное, это была инициатива большого выдумщика, замечательного старшего пионервожатого лагеря Фати Гурария (того самого, который фотографировал меня на Доску почета). Он вообще-то был тогда молодым фотокорреспондентом и комсомольским активистом "Известий", шефствовавших над нашей школой. Впоследствии, известный как Семен Гурарий, он вышел в ряд первых представителей своей профессии: снимал вождей советского государства, его фотографии обошли весь мир.

Лагерь наш принадлежал комбинату "Известия" который, как я уже сказал, шефствовал над нашей школой. Поэтому нашими пионервожатыми были комсомольцы из редакции и типографии этой газеты, и Фатя в их числе.

Возможно, это обстоятельство как-то сказалось на моей судьбе. Огромное впечатление на меня произвела экскурсия, которую нам устроили однажды шефы, особенно линотипный цех, где девушка-линотипистка отлила и подарила мне гарттовую строчку "Леонид Лопатников". Я ее берег, потом, наверное, в годы войны, она пропала. Но сколько раз за долгую мою журналистскую жизнь появлялись эти слова на газетных страницах, появляются и сейчас на титульных листах моих книг... Действительно, пророческий был подарок!

Чем я занимался в лагере? Да тем же, что и все ребята. Играл в футбол и волейбол, надо признаться, без особого успеха. Участвовал в спортивных соревнованиях и сдавал нормы на значок "БГТО". (Если кто не знает, это расшифровывалось так: Будь готов к труду и обороне! А потом, в старших классах мы уже сдавали нормы на "взрослый" значок ГТО).

В лагере я дружил с Раей Облонской, она была у нас председателем отряда, Асей Давыдовой, тоже какой-то пионерской "шишкой", с Шуней Штрих, незадолго до того приехавшей из Германии. Мы с ней с удовольствием болтали по-немецки. Из мальчиков почему-то не запомнился никто. (В двух словах. О Рае я уже писал, Шуня была разведчицей в годы войны, потом вышла замуж за итальянского коммуниста, в Италии была депутатом местного парламента... Об Асе знаю меньше, кажется, она эмигрировала в Израиль.). Много играл в шахматы и, конечно, запоем читал все, что было в не очень богатой лагерной библиотеке.

Лагерная смена длилась недолго, меньше месяца. Остальную часть лета я проводил либо в деревне у Кати, либо в Москве, главным образом в парке Куль-

туры и отдыха имени Горького. В те времена там было чем заняться! Я участвовал в разных викторинах – литературных, музыкальных, исторических и каких-то иных. Иногда даже выигрывал призы. Но главное, что меня влекло в парк, был так называемый клуб "Архимед". Он представлял собой просторный павильон, в котором можно было заниматься конструированием и изготовлением разных самоделок и моделей: электромоторов, самолетов, автомобильчиков. Надо было просто записаться в какой-то из действовавших там кружков, и добрый дядя инструктор выдавал тебе все нужные материалы: мотки провода, какие-то детали, куски бумаги, картона, фольги – совершенно бесплатно. К сожалению, очень скоро все это кончилось. Детский городок и после войны сохранился, а вот клуб "Архимед" не дожил даже до нее. А потом и сам детский городок постепенно исчез с карты ЦПКиО. Жаль!

У Левы Гутмана с первого класса проявился интерес к математике, который у него никогда не иссякал. Он тоже, как и я, был проказником (я уже упоминал об этом). Одно время он был старостой класса и прославился тем, что когда мы решали сбежать с урока, он сначала выгонял нас, а потом шел к завучу и докладывал: все ушли, думали, что урока не будет, а силой я их не мог остановить (и немудрено, он отличался очень маленьким ростом!). Мы ждали его на ближайшем углу и, когда он появлялся, дружно шли в кино.

Но математика для него была всем. Он уже в шестом классе мог подсказывать десятиклассникам решение задач на экзамене и доказывал теоремы всегда нестандартно, не так, как нам доказывал учитель. Недаром он стал крупным ученым. Впрочем, об этом я еще, наверное, расскажу.

А у меня все было наоборот. Я интересовался многим, далеко не только техникой. Мои интересы в школьные годы менялись с калейдоскопической быстротой. У меня было два периода увлечения лите-

ратурой – первый в связи со столетием смерти Пушкина, отмечавшимся в стране с невообразимым размахом, второй позднее, в восьмом и девятом классах, когда я занимался в литературном кружке Московского дома пионеров. В 1937-м я наизусть заучивал целые главы из "Евгения Онегина", дни напролет проводил в районной библиотеке и писал книгу о лицейских годах Пушкина. Кстати, тут мы, может быть, впервые "пересеклись" с Наташей. Оба занимались в литературном кружке у учительницы Веры Ивановны Осиповой и сохранился с тех пор – чудом! – снимок, где мы с ней сидим как раз рядышком... К юбилею Пушкина Наташа делала макет какой-то из оперных постановок и выступала на пушкинском балу в костюме барышни-крестьянки, с лукошком и в лаптях. Еще я, как, наверное, все подростки, писал стихи...

Математикой, не без влияния Левы, я тоже интересовался. И тоже проявил некоторые способности. Об этом свидетельствует хотя бы то, что известный автор учебников по геометрии Ю.О. Гурвиц, преподававший в 25-й школе, какое-то время вел с нами, Левой и мной, индивидуальные занятия, как с юными дарованиями. Позже, уже в девятом и десятом классах, мы с Левой были участниками московского городского математического кружка, которым руководил профессор Андронов. Попасть туда было большой мечтой и честью для способных ребят моего поколения. Много, много позднее я работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук и создал довольно известный «Экономико-математический словарь», выдержавший множество изданий как у нас в стране, так и за рубежом. Наверное, это тоже свидетельство прозорливости Ю.О. Гурвица.

Но еще больше и более устойчиво я занимался географией. Тут помогло одно важное обстоятельство. В нашей квартире, в соседней с нами комнате жил замечательный старик, Владимир Викторович Алашкин. Он был, по его словам, в свое время полков-

ником генерального штаба царской армии; его историю, особенно то, как он уцелел, я не знаю. Но он изобрел специальный состав типа папье-маше (мы его называли странным словом "Вачкушка") и занимался изготовлением рельефных карт для военных академий, для генерального штаба Красной армии и даже для руководителей государства. Те, кто видел фильм о Валерии Чкалове, может быть, обратили внимание на большой глобус в кабинете Сталина, по которому летчик с вождем обсуждали возможность облететь "вокруг шарика". Такой глобус действительно был в кабинете Сталина. И сделан был он руками Владимира Викторовича. Технология была такая: откуда-то с завода привозили к нам огромные планшеты или половинки глобусов (целый никак не прошел бы через двери), на них сначала наносились контуры материков, берега морей и русла рек, потом лепился рельеф: наклеивались куски картона, вырезанные по географическим горизонталям, потом они покрывались вачкушкой. А когда она высыхала, карта раскрашивалась, и прозрачным лаком на нее приклеивались географические названия и разные знаки, специально для этой цели напечатанные где-то в типографии на папиросной бумаге. В квартиру постоянно приходили военные и люди в штатском, контролировали работу. А когда она заканчивалась, Владимир Викторович торжественно кидал кучу денег в подол своей жене, которую звали, кстати, как Наташу Наталией Николаевной и которая была единственной гостьей, когда мы отмечали нашу свадьбу много лет спустя.

Когда я подросток, Владимир Викторович предложил мне (как несколько ранее и Максу) поработать у него чем-то вроде подмастерья. Я с энтузиазмом принялся за дело. Помогал Наталии Николаевне варить вачкушку. Она никому не доверяла это ответственное дело. Учился размечать географические точки с помощью специального масштабного измерителя, наклеивал картонные "горизонтали", лепил менее от-

ветственные участки карты – горы и долины. Полученные навыки я использовал однажды, когда Чкалов и его последователи совершили свои прославленные полеты через Северный полюс. Я изготовил для школы карту полярных широт на листе фанеры размером примерно метр на метр. Там были вылепленные горы и возвышенности северного Урала, Камчатки, Аляски, Гренландии, Скандинавии и, конечно, прочерчены маршруты наших летчиков. Помимо всего прочего, работа давала мне географические знания: я волей неволей запоминал многое из того, с чем работал. Я мог мысленно, на память, проехать от Владивостока до Москвы, перечислив десятки больших и мелких городов и станций, знал все более или менее крупные вершины Кавказа и Карпат, притоки всех крупных рек Европы и мог удивить учительницу географии тем, что в несколько минут рисовал на классной доске с довольно большой точностью карту Франции или бассейна Волги. Если бы сейчас все это сохранилось в моей голове! Увы...

Уже много позднее я понял, что будь я тогда взрослым человеком, то, наверное, по картам, которые мы делали, мог бы много узнать о политике государства и даже предвидеть некоторые исторические события. В самом деле: мы делали большую карту (она состояла из трех щитов) Китая и Монголии – через год или два разразились бои на Хасане и Халхинголе. Делали карту Скандинавии и Финляндии – вскоре началась Финская кампания. Делали огромную, тоже из трех частей, карту наших западных областей и соседей от Прибалтики до Румынии (помню, тогда я заучил массу названий на Карпатах, Высоких Татрах, множество притоков Дуная, эти места были особенно интересны по рельефу). Теперь-то ясно, зачем она понадобилась Генеральному штабу...

На первые заработанные деньги я заказал очень широкие (так было тогда модно) серые брюки, в которых щеголял до конца школы. В ателье, чтобы сдать этот заказ, простоял двое или трое суток в оче-

реди. В магазине же достать брюки было просто невозможно. А еще купил пару коньков с ботинками и научился кататься, что было для меня большой радостью. Каток "Динамо", что на Петровке, стал для меня родным домом.

Новая старая школа

Формальное существование 25-й образцовой школы завершилось грандиозным скандалом. О нем детально рассказывает профессор Холмс. Целая глава называлась "Корруптирование учеников", в ней говорилось о том, что ради репутации школы учителя завышали оценки (поводом был донос какого-то из учеников на идеолога "образцовости" школы заместителя Грозы Александра Семеновича Толстого). К тому же, выполняя партийную установку, печать развернула кампанию с осуждением "практики преподавания труда, не соответствующей эпохе индустриализации". (25-я образцовая школа была известна своей постановкой уроков труда и, по-моему, заслуженно). Авторы статей во всю издевались над "примитивными столярными и слесарными верстаками, которые не давали представления о современном высокотехнологизированном производстве".

Лично я, наоборот, очень любил уроки труда и они мне многое дали для жизни. Конечно, я был не один. Уверен, я не мог бы много лет спустя построить (если быть точным – частично) дачу собственными руками, если бы не умел с детства владеть рубанком, напильником и прочими "примитивными" инструментами. Мне кажется, что профессор Холмс, скрупулезно изучивший огромный архивный материал, отнесся к нему со слишком большим доверием. Не все надо было принимать за чистую монету. Профессор, видимо, не учитывал, что в бывшем Советском Союзе написанные и опубликованные документы, особенно всякие партийные постановления и решения, вовсе не следовало понимать буквально. Если

там осуждались какие-то неправильные, ошибочные методы и действия (в данном случае речь шла о методике преподавания труда, а могла, скажем, о способах посадки кукурузы, или вырубке леса, или о трактовке сугубо научных, философских положений), то это вовсе не означало, что партийные вожди и их помощники были озабочены действительным улучшением дела в соответствующей области. Эти документы чаще всего просто отражали внутреннюю борьбу партийных кланов, готовили идеологическое оправдание предстоящим репрессиям в той или иной отрасли хозяйства или в том или ином регионе.

Так, несомненно, было и с 25-й школой. А. Холмс пишет еще, что "образцовые" школы были ликвидированы и преобразованы в простые из "эгалитарных" соображений. Это подчеркивалось, кстати, сменой номера школы на 175, поскольку "по совпадению" в это же время Моссовет принял решение об упорядочении нумерации московских школ по всем районам города. Цена "эгалитарных" соображений даже нам, детям была ясна с самого начала: по тому принципу, который был принят при отборе части учеников для перевода в 167-ю школу (об этом я упоминал). Несмотря на потерю названия "образцовой" и знаменитого номера 25, школа вовсе не перестала быть привилегированной. Просто теперь официально это не так афишировалось.

В этом, помню, я с особой остротой убедился – даю точную дату! – первого сентября 1942 года. Я, истощавший солдат в застиранной гимнастерке и обмотках, находившийся дома в трехмесячном отпуске по ранению, в этот день вышел из своего подъезда и ... обомлел. Весь переулок был уставлен легковыми машинами. Оказывается, это привезли детей в школу многочисленные начальственные родители. Раньше такого никогда не было. Даже Светлану Сталину подвозили до угла на улице Горького, а по переулку до школы она шла пешком в сопровождении охранника. Не видел я подъезжающим к школе и Ва-

силы Сталина. Да и других, как сказали бы теперь, "кремлевских детей". Я не могу дать объяснения этому феномену, но именно в трудное военное время власть имущие перестали "скромничать". С тех пор, и позднее, после войны они не стеснялись подвозить своих чад до самых ворот школы. Сейчас, конечно, это никого бы не удивило. Но в нищей стране, где на протяжении десятилетий был в ходу анекдот о том, как идет по улице народ, а едут – слуги народа? Вот вам и "эгалитаризм", о котором пишет уважаемый американский профессор!

Переход в новую 167-ю школу прошел для меня и, насколько я знаю, для моих одноклассников спокойно и безболезненно. По сути дела, для меня ничего не изменилось. Расстояние до школы от дома, если считать не кругом по Старопименовскому и Воротниковскому переулкам, а через проходной двор (где надо было только перескочить через невысокую ограду), было практически тем же. И так же, как прежде, я бегал в школу весь год без пальто. Дороже всего было то, что ребята были почти все свои: из четырех седьмых классов, начавших занятия в новой школе, три были почти целиком из 25-й и лишь один из какой-то другой соседней школы. Вот здание было похуже, особенно огорчало отсутствие нормального зала: занятия по физкультуре проходили в чуть увеличенной классной комнате, которая называлась залом лишь по недоразумению. И, конечно, не было ни столярной, ни слесарной, ни полиграфической мастерских.

Учителя у нас оставались те же: Вера Ивановна Осипова по литературе, Нина Александровна Миткевич по математике, Борис Сергеевич Зворыкин по физике, Ксения Ивановна (фамилию забыл) по химии, и многие другие стали преподавать одновременно в обеих школах. И директором у нас стала Лидия Петровна Мельникова, которую мы прекрасно знали (она была заместителем у Грозы).

Надо сказать, что коллектив преподавателей в нашей образцовой школе (а он, как видим, по существу был един со 167-й школой), этот коллектив был действительно образцовым. Как подробно, с профессорской дотошностью свидетельствовал в своей книге Л.Холмс, учителя в 25-й школе оплачивались существенно лучше и пользовались лучшими условиями, чем в других. Наверное, это и позволило Грозе собрать целое созвездие выдающихся педагогов. И не в том только дело, что в 25-ю школу приезжали учителя со всей страны перенимать опыт, и так называемые "открытые уроки" скорее были правилом, нежели исключением. Дело в том, что школа давала своим питомцам нередкость солидную подготовку, учила самостоятельно мыслить. Немногие школы могут похвастать таким количеством воспитанников, ставших учеными, писателями, крупными инженерами, как наша. Только из моих сверстников (можно сказать, моего самого близкого окружения) могу назвать профессора Гутмана, профессора Маргулис, профессора Бонч-Бруевича, лауреата государственной премии Киршенбаума, профессора Раковщика, наконец, профессора Лопатникову! Мог бы назвать еще... но стоит ли продолжать?

Так что если и были какие-то случаи завышения оценок, послужившие поводом для разворачивания скандала вокруг 25-й школы, то, конечно, не они делали погоду. Разговаривая со сверстниками в Московском доме пионеров, в библиотеке, повсюду я легко убеждался, что наша даже "завышенная" четверка с лихвой стоила пятерки почти в любой другой школе. В связи с этим, только что вспомнил описанный выше эпизод, общешкольное собрание в театре юного зрителя, когда я кончал пятый класс. На всю школу тогда были, оказывается, только три круглых отличника! Это ничтожно мало, в других школах обычно было больше. Да и в 1941 году, когда мы заканчивали школу, у нас по три, а то и пять круглых отличников в каждом классе получили так называемый ат-

тестат с золотой каемочкой (золотых медалей тогда не было).

Конечно, среди наших учителей были исключения. В седьмой класс к нам пришел однажды начинающий, причем довольно слабо подготовленный преподаватель. Мы это сразу распознали, а распознав, с типичной для подростков жестокостью стали над ним буквально издеваться. Я был в этом неприглядном деле одним из закоперщиков: придумывал и задавал вопросы, на которые Сулла (такое ему дали прозвище) не мог ответить, ловил его на каких-то нелогичностях и ошибках. Нина Евкина (впоследствии поэтесса Бялосинская) написала тогда об этом целую поэму «Суллиаду». Я помню только четыре строчки: "Палестина где - не знает, ну а где же Рубикон? Сулла гордо отвечает – переехал нынче он!".

Зато вскоре в девятый класс пришел к нам еще один новый учитель, звали его Петр Моисеевич, фамилия, как мне недавно напомнил Сережа Вегер, – Грин. Мы оба с Наташей всегда вспоминаем его с большой теплотой. Он был человеком, как нам тогда казалось, необыкновенным. Очень много знал, садился на первую парту лицом к классу и рассказывал, читал нам русских классиков со страшным еврейским акцентом, но так, что самые отчаянные шалопайи притихали... Он любил задавать провокационные вопросы, которые вызывали такие бурные дискуссии, что к нам учителя из соседних классов прибегали: что там у вас случилось? Он погиб на войне...

К сожалению, я не помню точно: под его влиянием у меня возродился интерес к литературе в старших классах, или просто так совпало. Но я поступил в литературный кружок Московского дома пионеров, который находился тогда на улице Стопани, около Кировских ворот; занимался там стихами и немного прозой. Руководил кружком известный детский писатель Рувим Исаевич Фраерман (автор "Дикой собаки Динго"), но самое большое впечатление на меня производили лекции по античной литературе, которые читал

замечательный знаток и поклонник Гомера профессор Радциг. Он декламировал нам большие куски из "Илиады" и "Одиссеи", и сам плакал от волнения.

Литература, а точнее, Николай Гаврилович Чернышевский с его романом, заставила меня тогда буквально переродиться. До восьмого класса я оставался все тем же шалопаем, нахалом в отношениях с учителями (однажды, поссорившись по какому-то поводу с учителем черчения, я назвал его дураком, за что схлопотал оценку "очень плохо" по дисциплине и еле удержался в школе). И учился я в первой и второй четвертях восьмого класса из рук вон плохо: получал двойки и тройки (то есть "плохо" и "удовлетворительно") даже по таким предметам, как математика и физика.

А вот прочитал "Что делать" и многое передумал. В образе Рахметова меня привлекла не столько его "революционность" и борьба против существовавшего строя, сколько сама по себе целеустремленность и организованность, умение выбирать главное и не размениваться на мелочи. Помню, я даже стал составлять по его примеру списки "самых важных" книг, которые считал нужным прочитать. До того я действительно читал все, что попадало в руки, вплоть до каких-нибудь Чарской или Луизы Олькотт, ерундовых детективов и парадных, приглаженных повестей о советской жизни, из которых мне запомнилось почему-то название "Джек Восьмеркин – американец". Я подготовил большой доклад об образе Рахметова, который читал два урока подряд, включая перемену, причем сразу для двух классов. Наташа даже помнит это "событие" – тогда она училась в "Б", а я в "А".

И я очень посерьезнел. Этому особенно способствовали совершенно необычные обстоятельства. Дело в том, что тяжело заболела наша учительница по математике, Нина Александровна Миткевич. Мы с ней очень дружили, бывали у нее дома, потому что, как я упоминал, дочь ее Вера училась с нами. Директор школы Лидия Петровна, сама тоже математик,

замену нашла для всех классов, где преподавала Нина Александровна, кроме восьмого "А". И вот нам троим, Володе Зиновьеву, Киму Арто и мне (которому та же Нина Александровна в первом полугодии вкатывала за невыполнение домашних заданий тройку за двойкой!) было предложено взять на себя преподавание, соответственно, алгебры, геометрии и тригонометрии. Мы согласились, согласился и класс, который нас поддержал: дисциплина на наших уроках была образцовая. Мы с Володей (Ким жил далеко, на Плющихе), каждое утро до школы собирались либо у меня, либо у него и готовились к урокам: решали задачи, вместе проверяли домашние работы учеников, составляли планы уроков. Уроки вели по всем правилам: вызывали к доске, проводили контрольные работы, давали задания на дом и даже выставляли оценки, включая четвертные за третью и четвертую четверти. Эти оценки записывались в дневники и учитывались, когда надо было выставлять годовые отметки. Только у нас троих за эти две четверти стояли по математическим предметам прочерки. И вот представьте себе картину: у меня за первую и вторую четверти были тройки (кажется, одна только четверка), за третью и четвертую ничего, правда, за экзамены пятерки. Формально дай бог на четверку за год вытянуть. А у меня в дневнике все три годовые оценки по математике (догадываюсь, после непростого обсуждения на педсовете, решившем пренебречь формальностями) были "отлично".

По остальным предметам у меня в восьмом классе были в основном пятерки, а тройка, помню, только по черчению: это был отголосок ссоры с учителем, о которой я уже упоминал.

В восьмом классе я начал выпускать стенгазету под нехитрым названием "Вперед". Его, сославшись на ленинский пример, подсказал нам отец Нели Корогодской Евсей Григорьевич, когда мы у нее дома обсуждали с ребятами этот проект. Полковник, начальник кафедры марксизма-ленинизма артилле-

рийской академии, он всегда демонстрировал свою преданность марксистской идеологии, и когда мы о чем-то спорили, обычно полувшутку, полувсерьез говорил: читайте "Краткий курс", там все сказано! Он пару раз выступал в школе с лекциями, и должен признаться, мне они нравились, а Наташа приходила в ужас от догматизма его рассуждений. (Насколько она была тогда умнее меня...)

Неля до конца своих дней (мы похоронили ее в октябре 2001 года) осталась верна воспитанной отцом фанатической вере идеалам коммунизма и советскому строю, несмотря на то, что самому отцу, еврею, пришлось испытать к концу жизни всю стандартную чашу страданий от коммунистической "национальной политики": он остался без кафедры, а потом и вообще без работы. Какое-то время мы с Наташей пытались переубедить Нелю, но в конце концов бросили эти попытки, хотя и остались с ней ближайшими друзьями на всю жизнь. Она была красивым, чудным по душе человеком, любила и знала поэзию, и будучи детским врачом, лечила наших детей. Для них она всегда была просто "тетя Неля".

Первый опыт редактирования газеты в восьмом классе оказался удачным. Газета была без всяких скидок интересная, задиристая, ее читали ребята из других классов, так что пришлось даже вынести ее из класса в коридор. Помню, одной из первых моих газетных "находок" была такая: во весь лист, под заметками, была помещена, как нам казалось, "сенсационная новость". Написанная огромными буквами строка гласила – как сейчас она стоит у меня перед глазами: "Соня Полюшкина получила две двойки!". Поступив в комсомол (правда, со второго раза, в первый раз мой прием отклонили из-за прежних "грехов") я с того времени из всех видов общественной работы выбирал именно эту: выпуск стенных газет, сначала классной, которую я уже упоминал, потом общешкольной газеты, которая называлась "Счастливая юность".

Надо сказать, в ту пору и я, и мои товарищи вполне понимали фарисейский смысл слов "Счастливая юность". Слишком много свидетельств обратного было перед нашими глазами: аресты родителей (никогда не забуду, как у меня на груди плакал Леша Туполев: вчера забрали отца!), а затем и исчезновение нескольких соучеников: Юры Гусева, сына крупного военачальника, Шуры Азарха, отец которого был корреспондентом ТАСС, Володи Егорьева (много лет спустя я чудесным образом встретил его на главной улице Якутска, где он после лагеря так и остался работать геологом)... Какая уж тут счастливая юность! Но против названия газеты ни предыдущие редакторы, ни я, когда меня выбрали в девятом классе на эту "общественную должность", не возражали: считали, что не в этом главное, а раз надо, так надо.

Работал я с увлечением. Главное, собрал большую команду живых, активных, тоже увлеченных газетой ребят. Среди них были литературно одаренные ребята, ставшие впоследствии профессиональными поэтами Нина Евкина и Юрий Коринец (человек очень трудной судьбы, попавший в ссылку и работавший там в шахте). Оформляли газету тот же Коринец, рисовавший замечательные карикатуры, и особенно Гора Возлинский, человек незаурядный, с которым мы дружим по сей день. Инвалид Великой Отечественной войны, заслуженный художник России, он является для меня примером жизненной стойкости, которому я стараюсь следовать несколько десятилетий. Эдик Трауб, погибший на войне, Лида Попова... К сожалению, многих активистов газеты я уже забыл. Помню только, как мы почти каждый вечер собирались в пионерской комнате, обсуждали темы заметок и сами заметки, делились новостями, спорили об оформлении. У меня были заместители, ответственные за выпуск отдельных номеров, я же осуществлял, так сказать, общее руководство, но главное, собирал информацию, темы для выступлений. Для этого у меня всегда был с собой блокнот. Все, что представляло,

как мне казалось, общий интерес, я тащил в газету: спектакль драмкружка, шахматный турнир, серия двоек в каком-то классе, результаты соревнований по гимнастике, плохо убранный класс, итоги учений по гражданской обороне, хорошие поступки и хулиганские выходы...

Помню, газета длительное время высмеивала девочек из восьмого класса "Г", которые, нарушая тогдашние запреты и традиции, применяли, как сказали бы мы сегодня, макияж. То есть красили ногти, ресницы и некоторые – о, ужас! – носили в ушах сережки. Девочки были как на подбор красивые, умницы, пользовались успехом у мальчиков всей школы и знали это. В школе, помню, ходил такой анекдот: "И ты в Прут!" (по созвучию со словами Цезаря «И ты, Брут!»). Имелась в виду Лида Прут, дочь известного тогда драматурга. Они на меня набрасывались чуть ли не с кулаками после каждого выступления по их адресу. Впоследствии одна из них, (по общему мнению, самая красивая, ее считали похожей на Наталию Гончарову), Аня Зеленая, ставшая детским врачом, приходила из районной поликлиники лечить нашего маленького Сережу.

Оформление газеты было довольно рационально. Мне достался по наследству фанерный щит, на котором сверху было написано название, а все остальное пространство разделено приклеенными планками на шесть или семь полос. Их мы и заполняли, укрепляя на кнопках, написанными от руки или напечатанными на машинке статьями и заметками, а также рисунками. Последняя колонка вообще была традиционно занята карикатурами и привлекала особое внимание. Наша газета выходила не по праздникам, как это было в те годы распространено, а сначала каждую неделю, потом два раза в неделю, и наконец, мы пришли к тому, что одну колонку меняли каждый день, так и назвав ее "Ежедневный листок". Мы очень гордились такой регулярностью, в Москве кроме нашей были только две или три ежедневных

школьных стенгазеты – одна из них недалеко от нас, в 170-й школе на Пушкинской улице и я туда ходил "для обмена опытом".

Каждое утро, два раза в неделю, когда мы торжественно выносили щит с новым номером газеты, нас окружала толпа, и это наполняло мое сердце гордостью.

Думаю, что тогда и определилась моя будущая судьба, несмотря на все ее зигзаги. Мечтая о будущем: кто кем станет, все ребята сходились на том, что мне предстоит быть журналистом.

В остальном жизнь моя, как и всей школы, продолжалась по обычным тогда канонам. Уроки, домашние задания, экзамены. Шла, как теперь мы знаем, подготовка к войне, и потому большое место в этой жизни занимали учения по гражданской обороне. Каждый ученик в школе от младших классов до старших знал свое место на случай воздушной тревоги: кто был пожарным, кто санитаром, кто дежурным по этажу и так далее. Когда раздавался сигнал тревоги и поступали вводные, санитары бегом выносили на носилках «раненых», а пожарные забрасывали песком воображаемые зажигательные бомбы (очень скоро, в июле 1941 года, мне пришлось действительно гасить "зажигалки" на крыше соседней школы на Каляевский улице, когда я дежурил там вместе с Виктором Авербахом, так что опыт в каком-то смысле пригодился). Надо сказать, большинство ребят с воодушевлением и интересом участвовали в этих играх, даже не задумываясь над их зловещим значением и предназначением. Юношей посылали в многокилометровые походы, чтобы подготовить нас к воинской службе. Как живая, стоит до сих пор у меня перед глазами карикатура Юрия Коринца в специальном выпуске газеты: измученные ребята на четвереньках доползают до финиша, волоча за собой по земле высунутые алые языки...

В школе работал драматический кружок, из моих друзей в нем с успехом, помню, занимался Яша Кир-

шенбаум. Он был красивым стройным юношей, девушки на него заглядывались. Мы регулярно ходили в "культпоходы". В память запал один из них - на спектакль "Три сестры" в постановке школы-студии МХАТа. Это был действительно эпохальный спектакль, вошедший в историю театра: недавно я где то читал о нем восторженные воспоминания. Молодые артисты играли с таким чувством, так естественно, что, помню, наши девушки всю дорогу до метро (спектакль давали на сцене какого-то заводского клуба) просто рыдали в голос... Проводились спортивные соревнования, например, по конькам были лидерами братья Саша и Миша Грачевы. Судьба их мне, к сожалению, не известна. Многие комсомольцы были заняты в так называемой кампании по борьбе с неграмотностью. Наташа вспоминает, что именно тогда она впервые встретилась с изнанкой советской жизни, нищетой. Она регулярно занималась чтением и письмом с взрослыми неграмотными работницами, бабушками, ходила по подвалам и баракам, где они ютились.

Наверное, я что-то еще забыл...

Всей этой бурной многообразной жизнью старшеклассников руководил признанный наш вожак Володя Зиновьев. Он в девятом классе стал секретарем комсомольской организации школы, одновременно с тем, как я стал редактором общешкольной стенгазеты. И работали мы с ним, что называется, в тандеме, очень дружно. Я упоминал уже о том, как мы с ним преподавали математику. Я часто бывал у него. Сын дворничихи (отец был где-то в местах не столь отдаленных), он жил в небольшой комнате, где стояла одна железная кровать, стол и несколько гнутых стульев. Мать укладывалась на ночь на кровать, дети - четверо или пятеро - на полу. Ели они в основном картошку, жаренную в подсолнечном масле. (Даже моя жизнь, весьма убогая, казалась, наверное, Володе верхом благополучия. Поэтому чаще всего мы готовили уроки у меня, за большим обеденным сто-

лом, который стоял в середине комнаты. На этом же столе делали и классную газету "Вперед", о которой я уже говорил).

Мускулистый, красивый парень с русыми волосами и образцово-показательным русским лицом, Володя был необыкновенно способным и к тому же целеустремленным человеком. Учился он только на «отлично» с того дня, как пришел к нам в седьмой класс из другой школы. Более того, вскоре после того, как он у нас появился, по школе пошли слухи: в его классе все, даже вчерашние двоечники вдруг стали намного лучше учиться, и к концу года он вышел на первое место по успеваемости. Конечно, это была его, Володи, работа. Потом он попал в наш класс и мы с ним стали закадычными друзьями на долгие годы.

Володя был лидером по призванию. Он героически сражался в партизанском отряде, стал в Литве секретарем Вилейского райкома партии, потом председателем городского исполкома, директором машиностроительного завода (в одном письме он выразился замечательно: "я люблю завод как женщину!" – настолько он всегда был увлечен своим делом, это была его характерная черта). Потом он вернулся в Москву начальником главка в Министерстве станкостроения и умер лет двадцать назад от рака. Умер, увы, в страшных мучениях.

Володя был, по всем меркам, образцовым секретарем школьной комсомольской организации, инициативным и принципиальным. Организация была непростая, хотя бы уже в силу обстоятельств, о которых я писал. Надо прямо сказать: в отличие от многих других школ у нас не было случая, чтобы комсомольцев заставляли на собрании отречься от родителей – "врагов народа". Напротив, когда представитель райкома однажды потребовал даже не исключить Виктора Авербаха из комсомола, а только не выбирать его в комитет комсомола, это вызвало бурю негодования. Собрание продолжалось два вечера до поздней ночи и только когда Виктор по собственной

инициативе взял самоотвод, обстановка разрядилась...

Вне школы существовали так называемые компании. Это были группы юношей и девушек, связанных дружбой, общими интересами, я бы сказал, общим уровнем развития. В компании, в которой я участвовал, были все самые сильные ученики девятого (потом десятого) класса "А". Особняком почему-то держался только Коля Ботягин. Впрочем, может быть, мы казались ему, с его высоты, просто несмышленишками, малообразованными и неинтересными людьми? Коля был гением. Не в том дело, что учился он шутя, казалось, не прилагая никаких усилий, и для него не было задач по математике, физике, химии, которые бы он не мог решить быстрее всех, да еще каким-нибудь неожиданным способом. В этом отношении он все же не был единственным. Дело даже не в том, что он уже в девятом классе освоил интегральное и дифференциальное исчисление в объеме вузовского учебника. Главное, у него была выработана своя стройная философия некоего натуралистического толка, что-то среднее между идеализмом и материализмом. Он мне однажды, гуляя после выпускного вечера по берегу Москвы-реки, излагал эту философию – можно было заслушаться! Это был поток мыслей, критики самых больших авторитетов (собственно, авторитетов как таковых для него не существовало, он их всех рассматривал иногда как равных, иногда как более слабых оппонентов). Уверен: его гибель на фронте в 1943 году лишила страну человека, который мог бы очень много для нее сделать. Я очень часто об этом думаю. И о том, что он, как и Володя, был из очень простой семьи, своего рода самородок...

А в нашей компании (беру девятый и десятый классы) были Яша Киршенбаум, Володя Зиновьев, Сережа Вегер, Ким Арто, Неля Корогодская, Люся Соколина, Володя Гельман, Зина Страндстрем, были еще некоторые, участвовавшие в наших сборищах нерегулярно, от случая к случаю. Я участвовал и в дру-

гих компаниях, с которыми вместе встречали праздники, Новый год, выезжали за город в турпоходы.

Один Новый год нам с Наташей запомнился особо (это относится к более раннему периоду, чем тот, до которого я дошел в своем изложении событий). Одно из самых дорогих воспоминаний! Этот Новый год мы встречали у Наташи (это было, если не ошибаюсь, в шестом классе). Мы с Яшей хорошо "подготовились" к нему. На бланке киноинститута, где работал Яшин отец, Борис Яковлевич, напечатали обращение, где говорилось примерно следующее: "Мы узнали, что группа учащихся будет встречать Новый год в квартире номер 36 дома 26 по улице Горького и рассчитываем прислать группу кинооператоров, чтобы запечатлеть это событие для кинохроники. Подготовьтесь". И послали письмо по почте, в фирменном конверте. Вот переполоху-то нагнали!

Наташа и ее подружки, Вера Таращанская и Лена Ихновская, готовившие празднество, не растерялись. Они сразу стали звонить всем ребятам, чтобы те пришли обязательно с пионерскими галстуками. Мы еще были пионерами, в комсомол тогда принимали только с пятнадцати лет, но носить галстуки многие из нас считали ниже своего достоинства, да и наши старшие – учителя и вожатые смотрели на это сквозь пальцы. Но тут такое событие! (К слову, нам тем более легко поверили, что с «показушными» мероприятиями такого рода ребята были хорошо знакомы. Например, на новогодней елке после четвертого класса был устроен целый «радиомост» с Заполярьем, откуда известный на всю страну летчик Бабушкин спрашивал, как учишься, сынок? И тот отвечал, что учится хорошо – под общий хохот! В то время Олег Бабушкин был самым завятым двоечником в классе)..

Наташа вспоминает, что и мы с Яшей пришли с галстуками, чтобы подольше поморочить головы остальным (хотя между собой смеялись: розыгрыш удался!). Но когда все выяснилось, нас конечно, чуть

ли не растерзали: на нас набросились все, кроме Левы Гутмана, который по своему обыкновению, мирно спал, свернувшись калачиком в большом кожаном кресле.

Что означала "компания" в старших классах? Просто мы часто гуляли все вместе, а также собирались у тех из нас, у кого были для этого приличные условия. Отдельные квартиры тогда были у немногих, вот к ним обычно мы и закатывались всей гурьбой, чтобы поговорить и потанцевать это были тогда для нас два самые разлюбезные занятия. Часто собирались у Нели – ее квартира была напротив Центрального телеграфа и у нее, что важно, был патефон. "У самовара я и моя Маша", "Риорита", "Чилита", "Андрюша" – вот первые названия, что приходят на память. Словом, весь тот репертуар, которые сейчас можно услышать как музыку "ретро".

А у Сережи, который жил не где-нибудь, а в огромном двухкомнатном номере гостиницы "Метрополь", был даже рояль.

Тут требуется маленькое пояснение. Как известно, члены правительства Ленина после переезда из Петрограда в Москву, расположилось в "Метрополе". Один из них – отец Сережи, бывший нарком труда Илья Сергеевич Вегер – так там и остался, а не переехал, например, в известный всем Дом на набережной. (Один из его сыновей, старший брат Сережи, был делегатом печально знаменитого "Съезда победителей". Его арестовали прямо во время заседаний следующего пленума ЦК, и он сгинул). Помню, мы каждый день собирались у Сережи, когда в Москве в зиму 1939-40 гг. стояли невиданные морозы и занятия в школах были отменены. А я, демонстрируя свою морозоустойчивость и удивляя прохожих, без пальто бежал из дома до станции метро "Маяковская", потом тем же манером из выхода метро "Площадь революции" до "Метрополя". Швейцары нас уже хорошо знали и пропускали беспрепятственно.

Там мы часами танцевали под фокстроты и танго, которые играл нам Яша, одновременно со школой

заканчивавший Гнесинское училище. Он чудесно исполнял также ноктюрны и вальсы Шопена и другую классику.

А еще мы любили всей гурьбой гулять по улице Горького. Тогда она была непохожа на нынешнюю Тверскую, преобразование ее происходило на наших глазах. Вначале она была узкой, потом расширилась. Снесли дом, в котором жил Лева Гутман. Снесли, помню, небольшой дом, на котором была дощечка с надписью, что это собственность какого-то французского гражданина (как такая собственность могла сохраниться до середины тридцатых годов, мне неизвестно). Он стоял рядом с огромным тяжеловесным зданием Митрополичьего подворья, которое сносить не стали, а решили передвинуть вглубь двора (где в четвертом корпусе жила Наташа со своей мамой Наталией Петровной и бабушкой Екатериной Павловной и где мы провели значительную часть нашей совместной жизни, с 1948 по 1971 г.). Однажды мы слевой специально поднялись на деревянные подмости, чтобы "прокатиться" на передвигаемом здании Подворья. Оно двигалось по рельсам так медленно, что мы, к вящему разочарованию, так ничего и не ощутили. Оно и сейчас стоит во дворе, загороженное от улицы построенным в те годы "корпусом Б", протянувшимся от Тверской площади до Камергерского переулка. А туристы проходят под арку этого дома, чтобы полюбоваться красивым старинным фасадом. Между прочим, в Митрополичьем подворье, до того, как его передвинули, было кафе-мороженое, в котором показывали даже кино. Мы слевой любили в него заходить, когда были деньги. Другое передвинутое на улице Горького здание, была Глазная больница. Ее к тому же развернули фасадом в Мамоновский переулок.

На наших глазах преобразилась Пушкинская площадь: сначала сравнивали с землей Страстной монастырь (мы еще застали время, когда в нем был антирелигиозный музей). Потом переставили Пушкина с

Тверского бульвара туда, где он стоит сейчас к справедливому недовольству культурной части москвичей. У начала Пушкинской площади друг против друга через Тверскую стояли два кинотеатра: "Палас" и "Центральный". Один из них был снесен в описываемое время, другой после войны. Исчез и кинотеатр документальных фильмов (раньше он назывался "Великий немой"), расположенный в начале Тверского бульвара, почти напротив Пушкина. При расширении улицы пострадал Музей революции – у него укоротили оба крыла. В одном из них было небольшое кафе, где, что запомнилось, подавали горячий глинтвейн.

Вот по этой улице мы гуляли, спорили о смысле жизни, о событиях, о школе... Иногда веселились, пели песни, получая замечания прохожих, иногда были не в меру серьезными.

Наверное, здесь уместно рассказать о моих отношениях, так сказать, со слабым полом. В младших классах я дружил со многими девочками, абсолютно не замечая, что они отличаются от нас, мальчиков. Я ходил к ним в гости, делал вместе с ними уроки. Например, где-то в шестом классе я целый год чуть ли не каждый день ходил делать уроки к Ире Самохиной, ко мне очень хорошо относились ее родители. Сидя за столом и готовя домашние задания, мы часто заводили патефон и слушали музыку, именно там я узнал и полюбил песню "Живет моя отрада в далеком терему"...

Но со временем, конечно, ситуация изменилась. Во мне начали просыпаться новые чувства. Не могу сказать, чтобы я влюблялся в каких-то конкретных девочек (девушек). Была, пожалуй, только одна, в которую я, как мне казалось, был влюблен. Ее звали Люся Румянцева. С ней я познакомился летом в деревне. Мы гуляли по лугам, по дорожкам в овсе, вместе читали книги и я читал ей свои стихи. И еще ревновал ее к другу брата Макса, Густаву Наги, которому она тоже оказывала внимание. Густав был высокий, красивый и его в глаза сравнивали с Ленским, на что

он отвечал стихами: "Он кудри черные имел, а я за лето порыжел..."

Сейчас я понимаю, что, несмотря на пылкость чувств и стихи, никакая это была не любовь. Кончилось лето, и Люся исчезла с моего горизонта. Я же сокрушался недолго, закрутившись в своей бурной школьной жизни.

Я, как бы это выразиться, любил весь женский пол сразу. К любой девушке, которую провожал из школы, или с которой катался на катке, а тем более танцевал на вечеринках, я относился не то чтобы как к возлюбленной, но близко к этому. Наташа помнит, что я подкладывал ей и Лене Ихновской в парту букетики мимозы к дню Восьмого марта, и что она однажды отказала мне, когда я пригласил ее на "Дубровского" в филиал Большого театра. Значит, в тот момент я испытывал к ней какие-то чувства. Как сейчас вижу ее: серьезную, стройную миловидную девушку, с которой было хорошо танцевать на школьных вечерах. Но я дарил цветы и другим. Когда были деньги, приглашал в театры и на концерты (особенно в десятом классе, когда пришло мое новое увлечение музыкой и я стал завсегдатаем Большого зала консерватории) разных девушек, которым, как мне казалось, это могло быть интересно. Красота девушек, конечно, тоже на меня действовала. С удовольствием провожал до дому, гостиницы "Центральная" (гостиницы Коминтерна), где она жила, восьмиклассницу Нелю Шефер. О ней вся школа так и говорила: "Ах, это та, которая с глазами!". У нее и в самом деле были поразительно красивые темнокарие глаза, впоследствии она стала актрисой Центрального Детского театра. Кстати, вскоре после войны мы с ней встретились на улице Горького, и она с плачем жаловалась мне, что из гостиницы ее выселяют бог знает в какую даль, на окраину (в район Киевского вокзала, где потом образовался Кутузовский проспект, одна из центральных улиц города).

Любил танцевать с Нелей Корогодской, которая

была, на мой вкус, самой красивой девушкой в нашем классе. Любил погулять по Тверскому бульвару с Розой Смирновой, которая была, по моему мнению, типичной русской красавицей с косой, обернутой вокруг головы. (Правда, Наташа по своей дворянской природе считала Розу простоватой и не такой уж красивой). На всю жизнь запомнил впечатление, которое произвела на меня стройная и женственная фигурка Беллы Граник в купальнике на фоне Луны, когда мы устроили ночное купанье у нее на даче, где отмечали окончание школы...

Вот мы и подошли к финалу. Но прежде чем завершить описание моей жизни в школе, вспомню коротко два последних школьных лета, во многом для меня примечательные. Одно из них я провел на Украине, другое в Москве.

Летом 1939 года меня взяли с собой на Украину теть Зельма и ее муж, художник Макс Ефимович Яффе, проще дядя Макс. С ними были моя двоюродная сестра Стелла, которая училась у нас же в школе на класс младше меня, и родившийся незадолго до того ее брат Эдик. Дядя Макс искал на Украине натуру для своих полотен, тете Зельме было нелегко управиться с малышом и всем хозяйством. Вот я и должен был как-то ей помочь. Мне это было интересно: как я уже говорил, меня хлебом не корми, дай куда-нибудь поехать, попутешествовать. И вот доехали мы на поезде до глухого городишки по названию Гадяч. Встретились там с ужасающей бедностью, если не сказать нищетой. В городе нельзя было купить никаких продуктов, кроме ржавой селедки и плохого хлеба, причем не белого (это на Украине с ее бескрайними полями пшеницы), а черного. Естественно, там мы не задержались. После расспросов, которые провел дядя Макс, сели снова на поезд, и проехав всего каких-нибудь двадцать километров, высадились в селе Андрияшевка. Меня поразило и на всю жизнь запомнилось контраст: тот же пейзаж, те же поля, а жизнь такая, что можно снимать кинофильмы

о достижениях колхозного строя. Мы остановились в хате одного бригадира и провели лето в полном комфорте, вдоволь питаясь овощами и фруктами, яйцами и мясом. Жена бригадира, очень красивая украинка (дядя Макс говорил: приодеть бы ее, и на любом светском приеме она произведет фурор) помогала тебе Зельме по хозяйству, так что у меня освободилось время. Я много гулял, наблюдал за жизнью селян, меня поразило, что их, например, волновала проблема, кому достанется поступившая в сельмаг партия патефонов (для меня это было по тем временам свидетельство очень высокого уровня жизни). Я задумывался над контрастом с Гадячем и пришел, с одной стороны, к выводу, что жизнь далеко не всех советских крестьян так хороша, как ее показывали в кино или описывали в газетах и на радио. Что было правильно. Но с другой стороны, думал так: вот в Андрияшевке хороший председатель, потому и колхоз зажиточный, в Гадяче же плохой, отсюда и все беды. Значит, надо везде поставить хороших председателей и все пойдет по иному. Это было похоже на то, к чему позднее, при Хрущеве, пришла и правящая партия но, конечно, как я вскоре понял, было чепухой. Органические пороки колхозного строя, разорившего нашу страну, таким способом излечить было невозможно, да и вообще пороки эти были неизлечимы.

В Андрияшевке по-русски не говорили – только по-украински. И в библиотеке ни одной книги на русском языке не было. Я взял там большой том Квитка-Основяненко и с увлечением, сначала медленно, не все понимая, потом быстрее прочитал его. После него у меня уже трудностей не было, и я прочитал по-украински по меньшей мере два десятка книг. Сейчас, конечно, многое забылось, но некоторое время и после войны я владел украинской мовою совсем неплохо.

Возвращался я из Андрияшевки один, дядя Макс с семьей остался еще на какое-то время, а мне надо было в школу. Ехал с пересадкой в Конотопе. Мест не

было ни в одном из проходящих поездов, я еле втиснулся в переполненный вагон и стоял, не присаживаясь, всю дорогу до Москвы, это было что-то около двадцати часов. Прислушивался к разговорам: они так или иначе крутились вокруг недавнего визита Риббентропа в Москву. Время от времени звучало грозное слово: война...

На следующее лето я подрядился на работу. Владимир Викторович потерял зрение и скончался. В течение учебного года я еще немного подрабатывал, вычерчивая какие-то разрезы сибирских болот для экспедиции, в которой участвовала наша учительница биологии Софья Васильевна Кац. Денег хронически не хватало.

В то время были распространены так называемые библиотеки-передвижки. Их задачей было приближение книжных фондов к читателям. Вот я и подрядился заведовать такой библиотекой на лето за 250 рублей. Местом расположения мне определили дом по улице Горького, занимавший почти целый квартал между этой улицей, Козицким переулком, улицей Немировича-Данченко и выходящим на Большую Дмитровку театром имени Станиславского и Немировича-Данченко. Застроен квартал мрачными тесно стоящими домами с типичными дворами-колодцами между ними, и лишь в одном углу, примыкающем к Козицкому переулку, осталось небольшое зеленое пространство. Вот там посреди садика стоял в те времена небольшой сарай с одной дверью и полками для книг по всем остающимся трем стенам. Туда привезли книги, я расставил их по полкам, поставил перед дверью небольшой столик и стал ждать читателей. Они не замедлили появиться - в основном подростки, но были и взрослые. Работа пошла бойко. Но скоро я начал замечать, что из библиотеки пропадают книги...

Надо сказать, что дом 12 – это и есть "Бахрушинка" (по имени хозяина купца Бахрушина), еще до революции славившаяся как одно из самых хулиган-

ских и воровских мест Москвы. Советская власть в начале тридцатых пошерстила этот "контингент", многих выселила на 101-й километр, но традиции – вещь живучая.

Когда я ближе познакомился с ребятами из этого двора, то узнал много интересного. Узнал, кто – домушник, кто форточник, не удивлялся, что в отдельные дни двор пустел: все ушли в суд, где слушалось дело кого-то из "своих, бахрушинцев". Оказалось, что среди моих читателей были люди, которым вовсе ни к чему было заниматься воровством. Например, один из них был талантливым художником: он привел меня в комнату, сплошь увешанную его картинами (до недавнего времени я помнил его фамилию, думал о том, как же сложилась его дальнейшая судьба, но вот теперь, увы, забыл). Ей богу, они были на вполне профессиональном уровне. И он вполне мог зарабатывать не воровством. Я как-то нашел общий язык с этой, как тогда говорили, "шпаной". Однажды, похвальнось, они мне предложили выбрать книгу и следить за ней в оба: все равно, мол, украдем! Я взял большой том Чернышевского, поставил его в дальний угол сарая, и никуда не отходил от столика. Как мне казалось, было совершенно невозможно проникнуть в сарай, чтобы я этого не заметил. А вечером мне торжественно преподнесли том Чернышевского! Как это им удалось, до сих пор не понимаю.

Когда закончилось лето и мне надо было сдавать дела, я подсчитал, что в библиотеке не хватает по меньшей мере полутора ста книг. И мне не только не получить свою зарплату, на которую я возлагал столько надежд, но еще и приплатить придется. Я рассказал об этом тем ребятам, с которыми успел за лето подружиться, и они обещали помочь. Действительно, через несколько дней мне вернули почти все пропавшие книги и несколько десятков в придачу (наверное, украденных где-то в магазинах). Я полностью рассчитался, а несколько книг принес домой. Одна из них – "Петр первый" Алексея Толстого, дожи-

ла до сих пор у нас на книжной полке. А зимой, на катке, произошел еще один запомнившийся эпизод. Я стоял в очереди за горячим чаем и вдруг услышал за спиной свистящий шепот: «Не видишь, что ли? Это свой!». Оказалось, один воришка нацелился залезть ко мне в карман, а другой удержал. Вот такая была у них этика...

Вот так я познакомился с еще одной стороной жизни – криминальным миром.

В десятом классе, естественно, все силы были направлены на успешное окончание школы. В разговорах с друзьями все чаще звучали названия вузов, профессий, словом, речь шла о выборе жизненного пути. Как ни странно, мне кажется, я тогда об этом не очень задумывался. Может быть, потому что по опыту старшего брата хорошо знал: после школы мне придется идти в армию – а там будет видно! Макс в то время мотался по больницам и санаториям, чтобы излечиться от туберкулеза, который он подхватил в снегах Финской кампании.

В воздухе пахло грядущей большой войной. Многие наши юноши собирались в военные институты и училища – в них был самый большой конкурс. Мне же по наивности все казалось, что о войне как о грозе: поговорят-поговорят и она пройдет стороной. А к призыву я был готов и принимал его как данность.

У нас было одиннадцать выпускных экзаменов – напряжение огромное. Я сдавал их хорошо, все на пятерки. Мой ответ по физике отметил автор учебника Соколов, бывший членом нашей экзаменационной комиссии. Но ирония состояла в том, что физику-то я готовил не по Соколову, а по Наултону – замечательному американскому учебнику, на перевод которого наткнулся в библиотеке.

Аттестат я получил с золотой каемкой, на нем было написано: "... имеет право поступления во все вузы Советского Союза без экзаменов". Медалей, как я, кажется, упоминал, тогда не было.

16 июня у нас был выпускной вечер. Всю ночь

мы гуляли вокруг Кремля, по набережной Москвы-реки. Как я вскользь упоминал, в основном мы шли в обнимку с Колей Ботягиным, веселье, разгоряченные и толковали о философии. Несколько вечеров собирались то у одного, то у другого – танцевали, пели, пили вино, мечтали... Все как у всех бывает в эту пору...

А 22-го началась война.

Московский мальчик на войне¹

Я уже писал, что у меня плохая память на события собственной жизни. Иногда ничего не могу толком сказать про целые годы. А вот примерно полгода от 22 июня 1941 года до 18 января 1942 года – дай мне, как говорится, волю, мог бы описывать чуть ли не по дням.

Не стану распространяться о впечатлении, которое произвело на людей заявление Молотова, прозвучавшее в 12 часов утра. Об этом написаны тома. Скажу лишь, что уже через час, а может быть и раньше, я был в нашем райкоме комсомола, который находился тогда в правом крыле особняка райкома партии на Малой Дмитровке. Я написал "в нашем", потому что, честно говоря, забыл, как он назывался в описываемое время. В отличие от Парижа, где зна-

¹ Эта глава была опубликована в майском номере журнала «Новый мир» 2005 года, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Здесь внесено небольшое, но важное дополнение (см. ниже). И еще замечание. Один недалекий критик в обзоре журнальной прозы под названием «Штык в землю!», счел наиболее существенным в главе тот абзац, где говорится о панике, охватившей наши отступающие войска после прорыва немцев, и о моем честном признании – через несколько страниц читатель сможет сам познакомиться с ним. На мой же взгляд, главный абзац – тот, где говорится, что мы всю дорогу на фронт... пели! По наивности, не понимая, на что идем? Ни в коем случае. Был уже конец августа 1941 года, за два месяца все поняли, что война – страшная, почти все мы уже и сами побывали под бомбами, а это опыт, быстро выбивающий из головы легкомысленность и наивность, о которой был задан вопрос. И мы пели! Мы были счастливы тем, что нам доверили право: право защищать Москву, нашу страну. Вот в чем главное.

менитые аррондисманы (районы) не изменяли свои очертания со времен Средневековья, административное деление Москвы непрерывно меняется. Можно прожить в одном доме и быть прописанным последовательно в четырех или пяти районах.

Но это так, к слову. Пока писал, отчетливо вспомнил: наш райком в то время назывался Свердловским. Запыхавшись, я прибежал туда с вопросом: что требуется от нас, комсомольцев 167-й школы? Там уже были десятки таких же, как я, число их все время прибавлялось. Представитель райкома начал делить нас на группы, назначал старших и направляя на работы. Первое дело было очистить и приготовить бомбоубежища на случай воздушного нападения. Я попал в книжный магазин на углу Большой Дмитровки и Камергерского переулка (проезда МХАТ). Теперь это магазин педагогической книги. Мы выстроились в цепочку и подавали навверх из подвала пачки книг. Работали весело, обменивались шутками, мы явно еще не понимали, что произошло на самом деле. Да и, начитавшись книг и насмотревшись кинофильмов типа "Первый удар", мы думали, что очень легко, очень быстро враг будет разбит. И как тогда писали в газетах, " война будет вестись исключительно на его территории". Когда мы очистили подвалы, оказавшиеся очень просторными, директор магазина в награду предложила каждому взять по книжке. Я взял новинку того времени, "Философский словарь", который многие годы после войны стоял у нас на полке, но потом куда-то пропал.

Две или три ночи подряд чистили мы тоннели метро. Это была нелегкая работа: грязь там не выскребали, наверное, со времени строительства. Мы приводили тоннели в порядок, потом к нам подвозили деревянные щиты, которые мы укладывали по обе стороны рельсов. Во время воздушных тревог на них лежали тысячи людей, спасаясь от бомбежек. Ночью по городу ходить без пропуска было невозможно. Поэтому, кончив работу около площади Революции, мы

должны были ждать утра в вестибюле. Чтобы сэкономить время, я вместе с одной симпатичной девушкой по имени, кажется, Галя, однажды прошел весь путь до площади Маяковского по тоннелю.

Потом меня вызвал первый секретарь райкома по фамилии, если не ошибаюсь, Корф. Это был коренастый мужчина, безусловно, не комсомольского возраста, довольно самоуверенный и властный. Мне он сообщил, что решено направить комсомольский батальон в тысячу добровольцев на строительство оборонительного рубежа на Западе от Москвы (где конкретно, он не сказал). В райкоме меня давно знали как комсомольского активиста. Мне предлагалось подобрать и возглавить вторую роту (собственно, сотню, всего рот было десять). Я, конечно, прежде всего, кликнул клич по ребятам из своей школы, окончившим десятый и девятый классы. Таких набралось чуть больше пятидесяти. Остальных мне выделил райком. Это были молодые работники Большого театра: буфетчики, слесари, декораторы и тому подобное. Забегая вперед, скажу, что с ними мне было труднее всего, и если бы не поддержка однокашников, я бы с ротой не справился.

1 июля мы отправились с Рижского вокзала в направлении на Ржев, оттуда повернули на Вязьму, а далее на грузовиках, которые нам выделил местный военный комендант, поехали по шоссе Москва-Минск на Запад до села Издешково, что на берегу Днепра. Мы высадились около местного кладбища, где я и устроил свою временную штаб-квартиру. Над нами пролетали немецкие самолеты, но первое время не бомбили. (Тут же возник анекдот: "Внизу смерть, наверху смерть, а между ними рота Лопатникова"). Я был одет в солдатскую шинель, которую мне дал Макс, и вообще воображал себя настоящим воякой. Разговаривая с бойцами роты, требовал обращения на вы. Когда кто-то из Большого отказался встать по моему приказанию, возник конфликт, но я, при поддержке ребят из школы, добился своего.

Командиром батальона был орденоседец, участник боев на Хасане; фамилию его я забыл. Он, в общем, требовал высокого воинского порядка и дисциплины, и мне это нравилось.

Переночевав на кладбище, с раннего утра взяли лопаты и пошли к берегу Днепра, где военные определили нашу задачу. Требовалось выкопать участок (от сих до сих) противотанкового рва (мы все говорили тогда «ров»), но это было не точно, кажется, строгое название такого противотанкового сооружения – эскарп). Он был глубиной, примерно, метров в семь. Были проделаны три или даже четыре ступени, по которым мы перебрасывали лопатами землю снизу вверх. Стояла жара, хотелось пить. Но все работали без усталости. Мне почему-то особенно запомнилась колоритная фигура Виктора Авербаха (как уже упоминалось, он был сыном расстрелянного председателя Союза писателей СССР и внуком ближайшего друга Ленина В.Бонч-Бруевича; впоследствии дед усыновил Виктора и дал ему свою фамилию. Профессора-физика В.А.Бонч-Бруевича, наверное, помнят в МГУ). На голову он надел носовой платок с четырьмя узлами на углах. Худой, высокий, в толстых очках на длинном горбатом носу, он выглядел довольно комично. Но работал истово, до изнеможения. На солнце сверкала огненно рыжая копна волос Горы Возлинского, художника школьной стенгазеты, которую я в свое время редактировал. Работая лопатой, нескончаемо балагурил чудесный парень, мой одноклассник Володя Черняйкин (впоследствии заместитель директора известного автотранспортного института НАМИ, ныне покойный)... Я тоже копал, но не все время: отрывался на заседания штаба батальона, организацию питания и тому подобные дела. Так что в каком-то смысле мне было легче, чем другим.

Удалось устроить роту на ночлег в каких-то сараях с сеном. Копали с утра до вечера. Ров обретал нужный профиль. Все бы хорошо, но вдруг несколько немецких самолетов начали бомбить мост через

Днепр, примерно в полукилометре от того места, где мы работали. Мы поняли, что и нам несдобровать. Это было ночью, разрывы освещали деревню. Рядом с нами появилась какая-то военная часть, красноармейцы устанавливали зенитные орудия, копали траншеи и окопы. Днем батальон продолжал копать свой ров прежним темпом, уйдя от моста еще на несколько сот метров.

Тут пошли слухи, что немцы высадили десант на том берегу, недалеко от Ярцева. Вскоре слухи, по видимому, подтвердились. Весь район Издешкова заполонили подтянутые туда войска. 16 или 17 июля командование приказало нам уходить на Восток, к Вязьме. Никакого транспорта нам на этот раз не дали: видимо, не до нас было. Предстояло пройти около семидесяти километров. Мы построились в колонну по четыре и зашагали по шоссе, и это было крупной ошибкой. Думаю, с пролетавших над нами немецких самолетов была отлично видна колонна в тысячу человек; откуда им было знать, что это не военная часть, а какие-то безоружные юнцы? И на второй день нашего марша мы увидели несколько вражеских бомбардировщиков и услышали сначала тихий писк, потом все более и более пронзительный звук, который я никогда не забуду – звук падающих бомб. Все мы стремглав бросились от шоссе на поле и залегли, кто как мог, под любой кочкой, другой возвышенностью, кустом. Многие лежали уткнувшись лицом в землю. Я так не мог, напротив, смотрел во все глаза. Увидел разрыв одной бомбы, через долю секунды другой, ближе, потом третьей еще ближе. Ну, думаю, четвертая накроет! Но четвертой не было. Еще несколько бомб упали где-то в стороне, а потом бомбардировщики развернулись и улетели.

Нам повезло. Все остались живы. Но уроком это происшествие послужило. Командир батальона собрал вокруг себя ротных и сказал, что дальше надо добираться каждой роте самостоятельно, чтобы не привлекать внимание фашистов. Так мы и поступи-

ли. Никакого строя уже не было, разбившись на группы, мы поплелись в сторону Вязьмы. Оставалось, думаю, километров двадцать пять. Но наш командир-орденоносец что-то занервничал, отдал мне (просто я подвернулся под руку, наверное) свою полевую сумку с нехитрой документацией батальона: списками, ведомостями на продукты и инвентарь и т.п. И исчез. Мы гадали, может быть, он решил уйти на приближавшийся фронт? Это так и осталось неизвестным.

Батальон распался. Компактной группой шла, моему, одна моя рота. Остальных командиры растеряли. Во всяком случае, в Вязьму мы пришли первыми и я пошел к коменданту спросить, какие будут дальнейшие распоряжения. Он заорал на меня, мол, не до вас, сопляков, и выделил кого-то из подчиненных, чтобы тот посадил нас на любой проходящий поезд на Москву. Мы попали на открытую платформу. Эшелон порожняка шел быстро, без остановок и через пять или шесть часов уже был на станции Белорусская-товарная, в столице. Мы были черны, как негры, от копоти, потому что вез нас не современный тепловоз или электровоз, а паровоз. Всю дорогу пели, и сговорились в тот же вечер встретиться в Сандуновских банях, чтобы отмыться. Что и было сделано.

Я же еще до бани пошел в райком (точнее, мы пошли с кем-то еще из командиров рот, с кем - не помню) доложить о происшедшем. Первый секретарь встретил нас матом и даже схватился за револьвер, наверное, решив, что мы дезертиры. Но когда я вручил ему полевую сумку командира батальона, он немного успокоился и стал расспрашивать, что и как было на самом деле. Ему же надо было докладывать, почему развалился комсомольский батальон Свердловского района, кто в этом виноват.

На следующий день утром (это было 20 июля) меня по телефону вызвали в райком, а оттуда вместе с моим закадычным другом Володей Зиновьевым и вторым секретарем райкома повезли на "Эмке" (так

называлась легковая машина М1 Горьковского автозавода) на улице Куйбышева, 18, где находился тогда Московский комитет ВЛКСМ. Там мне выдали удостоверение, за подписью секретаря МК ВЛКСМ Пегова, о том, что «Тов. Лопатников Л.И. является представителем Московского комитета ВЛКСМ по вопросу работы комсомольцев и молодежи по спецзаданию».

Дело в том, что в Москве началась небольшая паника – тысячи родителей комсомольцев, уехавших на строительство оборонительных рубежей, осаждали райкомы партии и райкомы комсомола: где наши дети, что произошло на этих самых рубежах?

Вот и были сформированы несколько групп, подобных нашей, чтобы они собирали разбежавшихся комсомольцев, помогали добраться до Москвы, если надо, покормив их (в багажник машины были положены несколько десятков буханок хлеба) и связав с железнодорожным начальством.

Экипажу нашей "Эмки" было сказано ехать в Калугу, в расчете на то, что часть бегущих из района Вязьмы ребят может отправиться туда по железной дороге Калуга-Вязьма. Много мы в Калуге сделать не успели. Проехали поездом по нескольким станциям – помню Оптину Пустынь, чтобы предупредить тамошних начальников о возможном появлении разбежавшихся комсомольцев и проинструктировать, как в этом случае поступать. Во время поездки был забавный эпизод, свидетельствовавший об умонастроениях в народе о ту пору. Мы стали расспрашивать пассажиров, можно ли на машине проехать из Калуги в Оптину Пустынь (чтобы отвезти туда хлеб) и даже не заметили, как кто-то из них скрытно от нас сбегал куда-то и привел милиционеров, мол, не шпионы ли мы, если ведем такие расспросы? Мы предъявили удостоверения, объяснили свою задачу и нас отпустили, предупредив, чтобы следующий раз были умнее.

Вечером 22 июля мы были в Калуге. Оставив нас с Володей в машине, наш секретарь райкома пошел в Калужский городской комитет комсомола, чтобы

представиться и договориться о согласованных действиях. Вдруг он выбегает из подъезда и кричит: Москву бомбили, Московский комитет комсомола разрушен, возвращаемся быстрее!

Шофер, которого мы звали по отчеству Христофорович, гнал машину, как мог. Ехали утром. Рассвело очень рано, и мне запомнилась необыкновенно красивая совершенно пустая и, казалось, мирная дорога: постоянные подъемы и спуски, туманная дымка над полями...

Приехали домой, отчитались. Быстро прошел день, а вечером разнеслось: "Граждане, воздушная тревога!". Я бросился на крышу с несколькими ребятами из нашего подъезда. Смеркалось. Где-то у горизонта виднелись сполохи огня. Небо прочертили лучи прожекторов. Все ближе слышались выстрелы зениток и характерное вибрирующее гуденье фашистских самолетов. Вдруг я услышал знакомый писк, который стремительно усиливался.

- Ребята, бомба! – первым сообразил я (опыт уже был!). И мы стремглав помчались вниз, катясь по перилам, перепрыгивая через ступеньки. Мы успели добежать до третьего или второго этажа, когда совсем рядом раздался оглушительный взрыв, куда более мощный, чем взрывы тех бомб, с которыми я познакомился под Вязьмой. Послышался звон стекла, хруст вышибленных со своих петель дверей. Но метровые стены нашего дома даже не шелохнулись. Оказывается, бомба упала на четырехэтажный корпус, стоявший во дворе соседнего дома номер 28 по улице Горького, и снесла его до основания. А мы отделались, что называется, легким испугом. В моей квартире, в комнате прямо напротив нашей, жил Алексей Федорович Левушкин (впоследствии директор крупного рыбного магазина). Взрывная волна вышибла целое трехстворчатое окно, и оно упало на диван, где он спал. Диван, как тогда было принято, имел валики у изголовья и у ног - они и спасли соседа, он не получил даже царапины.

Наутро я был свидетелем замечательной сцены. В комнатухе домоуправления (оно было в нашем дворе) собрались взволнованные жильцы. Они заседали на управдома, требуя записать, кому надо поправить дверь, кому вставить стекло или оконную раму целиком. Тот был в очень хорошем настроении, все записывал, отпуская шутки и остроты.

– Почему вы смеетесь, чему радуетесь? – возмутилась одна женщина, явно в трансе от пережитого.

– Как же мне не радоваться, - невозмутимо отвечал управдом. - Вы посмотрите, что с соседним домом стало, а у нас, подумаешь, стекло, двери. Это мы все починим!

Действительно, справедлива еврейская поговорка: если тебе плохо, посмотри кругом. Маленькая эта сценка запала мне в душу, я часто вспоминал ее, когда мне в жизни приходилось туго.

После этой ночи бомбежки продолжались с немецкой регулярностью каждую ночь. Обычно сначала примерно часов в девять раздавался сигнал "Граждане, воздушная тревога!", через некоторое время слышалось: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой», а потом снова тревога, уже "настоящая". Я не знаю, чем объяснялось такое "расписание", может быть, немцы перед налетом высылали разведку, но оно выдерживалось неукоснительно.

Военные сводки, несмотря на всю их приглаженность и туманность, становились все тревожнее. О падении тех или иных городов не говорилось, но и так было понятно, что когда вместо минского направления появилось смоленское, это означало, что Минск сдан, так было и на Украине, Прибалтике повсюду. Мы с друзьями решили идти на фронт, не дожидаясь призыва. На стадионе "Динамо" шел отбор бойцов в дивизию особого назначения. Мы с Володией Зиновьевым кинулись туда. Меня сразу отвели (почему, не знаю), а близорукий Володя был принят только потому, что к окулисту за него пошел наш общий приятель Яша Крауз.

Тогда я нашел на Пушкинской площади, примерно напротив старого здания "Известий", осоавиахимовские трехмесячные "Курсы радистов военного времени", так они официально назывались. Тут мне тоже пришлось немного схитрить: у кандидатов первым делом проверяли слух, а я от рождения абсолютно не слышу правым ухом. Врач поворачивал меня боком и, отойдя на несколько шагов, шептал какие-то слова. Я должен был повторить их. Потом то же самое другим боком. Выручило то, что левое ухо у меня слышало так хорошо, что я и, отвернувшись, смог выполнить тест и врач ни о чем не догадался.

На курсах нас учили основам радиододела, а главное - тренировали в азбуке Морзе: работе ключом и приему на слух.

Одновременно - уже не помню, как я туда попал - я стал комиссаром Первой московской комсомольской пожарной команды, штаб которой располагался на пятой Тверской-Ямской улице, где Дом композиторов. Начальником команды был Борис Миронов, учившийся в нашей же школе на год младше меня. У него были явные командирские задатки. Недаром он впоследствии стал генералом (я с ним как-то связь после войны потерял).

Бойцы нашей команды, среди которых опять-таки было много моих соучеников, приятелей, каждый вечер отправлялись на посты с задачей обнаруживать и уничтожать (то есть кидать в приготовленные повсюду ящики с песком) зажигательные бомбы. Эти бомбы были маленькие, совсем не тяжелые. Но упав на крышу, они обычно быстро вертелись, и поэтому главной и самой трудной задачей было их ухватить длинными щипцами, а когда щипцов не было - просто руками, завернутыми в тряпку. На крыше школы, которая и сейчас стоит во дворе студии "Мультфильм" на Каляевской, мы дежурили вместе с Виктором Авербахом. По какой-то причине мы в тот момент были с ним в ссоре и не разговаривали. Сидели насупившись каждый у своего слухового окна.

Но в решительные моменты действовали достаточно согласованно и даже дружно.

Вместо трех месяцев я проучился в радиошколе - точно помню - месяц и шесть дней. Набирал скорость приема-передачи я довольно быстро. И вот случилось так, что с фронта приехал какой-то капитан и сказал, что его части срочно требуются радисты. Он попросил назвать ему несколько наиболее продвинутых учеников. Я попал в их число. Побеседовав с нами и проверив, как мы работаем на морзянке, он отобрал восьмерых: четыре парня и четыре девушки. Не помню, сколько часов он дал нам на сборы, но очевидно, немного. Благо я жил рядом, бегом добежал до дома и объявил маме, что уезжаю на фронт. Набил в рюкзак самое необходимое, и прямо с Пушкинской площади, с того места, где сейчас лестница кинотеатра, мы на открытой полуторке отправились на Запад. Вначале ехали по шоссе Москва-Минск, потом свернули на проселок, лесную дорогу. Подпрыгивали на ухабах, вброд перебирались через какие-то речки. Оказалось, что наша цель Новое Дутино, это севернее Вязьмы, полк связи 49-й армии. Ехали счастливые тем, что исполнилась мечта: попасть на фронт. Пели песни. Помню чуть переименованную: "Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, уходили комсомольцы на германскую войну" (для тех, кто не знает: в этой популярной тогда песне «Дал приказ ему на Запад, ей в другую сторону» на самом деле было – «на гражданскую войну»)..

В памяти сохранились не все имена и не все фамилии нашей восьмерки – очень жаль! Рем Котляр из моей школы, Ядвига Залкинд - наверное, потому запомнил, что еврейка. Двое, Володя Случевский и Юра Ермаков, были почти мальчишки, им не исполнилось даже 17 лет. Скоро они не выдержали трудностей и то ли были отправлены домой командованием, то ли дезертировали. В общем, исчезли с нашего горизонта. Еще были девушки по фамилии Кошелева и Телешко (их при встрече назвал мне однополчанин,

бывший лейтенант Генералов), а одну я забыл. Ядю я однажды встретил после войны в Доме журналиста, она стала редактором какого-то издательства. От нее узнал, что все четыре девушки прошли войну в составе того же полка связи. Мы же с Ремом, как будет потом рассказано, вскоре попали из этого полка в стрелковую дивизию (я в стрелковый, а он – в артиллерийский полк). Дальнейшая судьба Рема мне не известна.

Приехали в расположение полка. Это был удивительный саженый дубовый лес, ничего подобного в жизни я больше не видел. Дубы стояли стройными рядами, а под ними не было ни травинки: такое было впечатление, что земля тщательно подметена. В лесу были выкопаны землянки, и первое, что нам поручили делать после того, как переодели в хлопчатобумажное обмундирование "б.у." и выдали ботинки с обмотками, а также постригли наголо, это копать землянку для себя, то есть для четверых парней (девушки тут же куда-то исчезли). Земля была легкая, песчаная, так что копалось довольно легко. Труднее было сделать накат – надо было пойти в другой лес, где спилить десятка два деревьев, обрубить сучья, перетащить получившиеся бревна к землянке. В общем, ушло два или три дня и мы здорово уставали. К вечеру без сил ложились прямо на землю, расстелив предварительно шинели, и засыпали. Землянка получилась скорее похожая на нору, старослужащие над нами посмеивались, но главное, старания оказались напрасными, потому что через несколько дней полку было приказано сняться, погрузиться на эшелоны и отправиться в неизвестном тогда направлении. Мы так и не успели как следует обустроить свою землянку - сделать деревянные лежаки, стол и прочее, что было у других. Кроме этого, за прошедшее время нас немного поднатаскали в радиоделе, познакомили с техникой, один раз свозили в Новое Дугино в баню. Наши офицеры (собственно, тогда этого слова в армии не существовало – говорилось: командиры) были

в основном люди образованные. Они делились на две части: кадровые военные и мобилизованные специалисты. Среди последних был, например, один профессор, заведующий кафедрой Института связи. После войны я видел его фамилию в списке членов редколлегии очень авторитетного и распространенного журнала "Радио".

Тут стоит пояснить, что представлял собой полк связи армии. Это, прежде всего, несколько десятков крытых грузовиков-фургонов, набитых аппаратурой, преимущественно радиоаппаратурой. Техника чрезвычайно сложная и дорогая. Радиостанции представляли собой как бы основу полка. Среди них были несколько самых мощных радиостанций РФ и РАТ (если я правильно помню, это расшифровывалось "Радиостанция фронтовая" и "Радиостанция аэродромная тяжелая"). Каждая из них размещалась в трех фургонах, один из которых был передвижной электростанцией, питавшей всю установку. Меня определили на станцию поменьше и попроще, она называлась "РСБ" ("Радиостанция скоростного бомбардировщика"). Собственно, приемник и передатчик располагались на столе в передней части кузова, у стола был стул для радиста. На полу стоял движок и так называемый умформер, преобразователь тока. В конце кузова, у входной двери, стояла печь, похожая на обыкновенную буржуйку, только не горизонтальную, а вертикальную. Экипаж состоял из четырех-пяти человек: начальника радиостанции (у нас был старший лейтенант), водителя и дежурных радистов.

Кроме радиостанций в полку были телеграфные станции, телефонные коммутаторы и еще какие-то устройства связи, все тоже в автофургонах, а также роты связистов-шестовиков, мотоциклистов и велосипедистов. Может быть, что-то еще я и забыл. Но рассказываю так подробно, потому что это пригодится для лучшего понимания того, что произошло в дальнейшем.

И вот на станции Новое Дутино погрузили техни-

ку в эшелоны. Это была хорошо отлаженная операция. Машины по платформам своим ходом въезжали на платформы, и там их закрепляли. Нас, солдат, поместили в теплушки по стандартной норме сорок человек. Куда едем, нам не объясняли. Честно говоря, не помню, как мы ехали: через Ржев или через Вязьму, может быть я, заснул и просто проспал, но вдруг я увидел, что эшелон въезжает в Москву. Город я знал хорошо и сразу понял, что нас по Окружной дороге переводят на какое-то другое направление. Оказалось - на Киевское. На станции Киевская-Товарная остановились. Жутко хотелось добежать до какого-нибудь автомата и позвонить домой, но покидать эшелон было строго-настрого запрещено.

Я понял только одно: полк передислоцируется куда-то в сторону Брянска. Один ли полк передается другой армии или перебрасывается вся армия, об этом я, естественно, понятия не имел. На самом деле оказалось, что это была часть операции по переводу 49-й армии на Южные подступы к Москве, вызванная наметившимся прорывом фашистских войск на этом направлении. (Этот прорыв действительно состоялся 2 октября под местечком Кирово Брянской области. Ситуацию, которая тогда сложилась на этом участке фронта, очень ярко описал Симонов в романе "Живые и мертвые"). Конечно, мы, солдаты, тогда об этом ничего не знали.

Эшелоны, после короткой остановки в Москве, двинулись вперед. Два или три раза нас бомбили. Эшелон останавливался, мы выпрыгивали из теплушек, скатывались с насыпи, падали в канавы. Никогда не забуду, как один солдат, по-моему, узбек, лежавший рядом, впился ногтями мне до боли в плечо и просто выл от страха при каждом разрыве бомбы. Были жертвы, в том числе и убитые. Наспех похоронили, тронулись дальше. Через несколько часов - это было уже ночью - мы увидели, что поодаль от железной дороги что-то горит. В одном месте, в другом, в третьем. Не знаю, какие распоряжения получило

начальство, но эшелон остановился посреди чистого поля и началась поспешная выгрузка. Тяжелые машины съезжали на полотно и направлялись к недалеко начинавшемуся лесу, на расхлябанную проселочную дорогу. И тут началась эпопея, которая осталась в моей памяти как самый трудный эпизод во всей моей фронтовой жизни.

Было так. Первая машина сравнительно легко продвигалась вперед, но вторая уже застревала в грязи, третья оседала по ступицы колес, четвертая просто садилась на раму и не могла сдвинуться с места. А ведь за ними были еще десятки машин! (Не поручусь за точность, но тогда говорили, что их было около 75). Велосипеды и мотоциклы были брошены тут же, на опушке. Только один стойкий мотоциклист не расстался со своим железным конем, но не столько ехал на нем, сколько тащил на себе по кустарникам и тропинкам параллельно дороге. Мы, солдаты, увязая в грязи, собирались по сорок, может быть по пятьдесят человек, облепляли машину и на руках протаскивали ее сколько-то метров. Потом переходили к следующей, и все повторялось вновь и вновь. Такие группы (я был в головной) растянулись по всей колонне и не останавливали движения до тех пор, пока вся она не скрылась в густом лесу. Счастье, что немецкие самолеты-разведчики ее не успели заметить.

Это было в районе Сухиничей, леса там густые, сумрачные, тянулись на много километров. Иногда самолеты над нами пролетали, но ничего, очевидно не обнаруживали.

Какой-никакой сухой паек у меня в вещмешке был, но это и все. Было голодно. Все тело болело от непосильной нагрузки. Мы все тащили и тащили эти неподъемные машины. Так продолжалось, по-моему, два дня, а может быть и больше. Однажды поутру лес расступился, и шедшие в передовом охранении бойцы дали сигнал остановиться. Я подобрался к опушке и увидел, как в километре - полутора, не больше, по

шоссе параллельно нашей дороге движется нескончаемая колонна танков. Вот тут я впервые испытал настоящий страх, даже ужас: у меня ведь не было еще никакого оружия, чем защищаться, если что?

Поступила команда: заглушить моторы, из леса не выходить, дожждаться ночи. Одно хорошо: можно было отдохнуть.

Ночью движение возобновилось. Мы пересекли поле и вновь углубились в лес. Через некоторое время встретилось еще одно препятствие: река. Как кто-то определил, это были верховья Оки. Река небольшая, был и мост через нее. Но вот дальше это даже трудно описать: высокий склон был скользким как каток. Мы втаскивали машину на несколько метров, потом вместе с ней скатывались назад, подбрасывали под колеса все, что могли найти: доски, прутья, камни. И опять ползли вверх. И вытянули всю колонну!

Вытянули на гравийную дорогу у какого-то поселка и тут случилось непредвиденное: водители дали газ и помчались вперед, оставив тех, кто их вытаскивал, на обочине. Уехали командиры рот, начальники радиостанций. Сказали нам, что мы должны двигаться пешком к Туле. Нас собралось человек, думаю, триста. При желании, на семидесяти машинах можно было бы всех увезти, и нам было очень обидно. Но приказ есть приказ. Построились, пошли к шоссе. А там растворились в толпе бредущих в сторону Тулы отступающих солдат, как растворяется вода ручейка, втекающего в большую реку. Мы сразу растеряли друг друга. Зрелище было воистину ужасающее. Это была именно толпа. Шли тысячи людей из разных дивизий, полков, дивизионов. Старались идти по шоссе, потому что по его сторонам почва превратилась уже во что-то совершенно непролазное: лужи, подернутые первым ледком, застывшая грязь, перемешанная сапогами наподобие какого-то лунного ландшафта. Вдруг со стороны Тулы промчалась упряжка с противотанковой пушкой. Ей дали дорогу, может быть, с облегчением подумав, что хоть кто-то идет навстречу

врагу, а не бежит от него. Но через некоторое время эта упряжка тем же аллюром промчалась обратно. Вдруг бреющим полетом, оглушая своим ревом, над нами пролетали "Юнкерсы". Они как-то лениво, больше, по-моему, для остратки или развлекаясь, поливали толпу пулеметным огнем. Мы бросались куда попало - в лужи, в грязь. Потом вставали и шли дальше. И так много раз.

Вот тогда (грешен!) единственный раз за все время войны я подумал, что это конец, что поражение неминуемо. Что нет такой силы, которая могла бы остановить и сокрушить врага.

К счастью, я ошибся. Но давайте подумаем вот о чем.

Прорыв 2 октября произошел, очевидно, потому, что на этом направлении не хватило войск, чтобы остановить врага и «заткнуть дыру», образовавшуюся на нашем фронте. Теперь я могу утверждать: войска были! Не так уж далеко от фронта – в Поволжье. Времени как раз хватило бы, как я понимаю, на то, чтобы перебросить их на поле сражения, решавшего судьбу столицы. Работая над книгой «О Сталине и сталинизме. 14 диалогов» я обнаружил в Сборнике документов о сталинских депортациях, на стр. 300, справку: « на операцию по выселению немцев были (28 августа 1941 года) направлены 12 350 человек: 32, 60, 230 и другие – всего 7 полков НКВД, три отдельных батальона и военное училище в Саратове». Обратите внимание на выделенную мною курсивом дату!

Может быть, я не прав, у главнокомандующего были какие-то иные соображения: укрепить критически опасный участок фронта для него было менее важно, чем выселить мирных жителей из своих домов, да и самим чекистам это было куда безопаснее и приятнее, чем лезть под пули и снаряды. Но прочитав эту справку, мне кажется, я понял, по чьей вине всю жизнь казнил себя за минутную слабость, проявленную мной – тогда совсем юным солдатом, бреду-

щим дорогой отступления и захваченным общей паникой...

У входа в Тулу я увидел первые признаки порядка. Там образовалось нечто вроде военного лагеря. Дымили полевые кухни, отступающих сортировали, формировали роты и батальоны и куда-то уводили строем. Очень быстро из толпы выловили всех или почти всех бойцов нашего полка и посадили в приготовленные заранее полуторки. Я увидел несколько знакомых командиров и очень обрадовался. Не медля, колонна двинулась по шоссе Тула – Москва. Остановились в селе Ненашево. Быстро холодало, ветер бил в лицо, падал густой снег (точно дату не помню, но было это в середине октября). Меня сразу определили в охранение, выдали винтовку и валенки. Я стоял на посту, наслаждаясь удивительно красивым пейзажем. Кругом чистейший белый снег, из труб валит дым. Где-то внизу в долине чернеет незамерзшая еще речка. Какой контраст с осточертевшей скользкой глиной и грязью совсем недавних дней!

В Ненашеве мы простояли два или три дня, а потом отправились в деревню Бутурлино под Серпуховым, где расположился штаб 49-й армии, а значит и наш полк. Командующим армией был генерал Захаркин – я его ни разу не видел, только слышал о нем от других.

Радиостанция "РСБ", на которой я стал дежурить, была замаскирована в роще, неподалеку от избы, где жил наш экипаж. Станцию охраняли с собаками, мобилизованными на военную службу. Меня, поскольку я проходил на станцию каждые несколько часов, они знали и приветствовали.

Станция соединяла штаб армии со штабами дивизий и корпусов. Каждый час проводился сеанс связи, когда я должен был «морзянкой» передавать приказы и указания, а из дивизий получать донесения. Записи передавал начальнику станции, а он дальше. Кроме того, проводились так называемые проверки связи, состоявшие из нескольких слов типа: "Четвер-

тый, как слышишь? Проверка связи". Потом, получив ответ, я передавал "Конец связи", и мог спокойно отдыхать.

Вообще, жизнь в полку связи при штабе армии, хотя и считалась фронтовой, на самом деле была по понятиям военного времени просто курортной. Жили мы в избе. Кормили нас вдоволь (это был вождеденный для многих «фронтовой паек»). Помню, особенно мне нравилась гречневая каша с луком, жаренным на комбижире. Линия фронта была далеко - километров за двадцать или тридцать, лишь изредка были слышны звуки орудийных разрывов.

Об этом я всегда думаю, когда слышу, как некоторые ветераны похваляются, что они всю войну прошли без царапины, без единого ранения, при этом испытав все тяготы фронтовой жизни. Конечно, были и такие, кому действительно повезло. Но как-то забывалось, что на самом деле собственно фронт, а еще точнее передовая, был тонюсенькой полоской на карте, и что лишь небольшая часть действующей армии составляла эту полоску, а все остальное были резервные части, тыловые службы, штабы разных уровней, лишь эпизодически, да и то не все, оказывавшиеся в зоне огня (конечно, когда противник окружал целую армию, как это, к сожалению, бывало на начальном этапе войны, то и ее штаб переставал быть тылом).

В дни войны, во всяком случае, в солдатском сознании, четко различались фронтовики и тыловики, пусть даже вторые были военными с высокими званиями и увешанные орденами. Но постепенно это разделение затушевывалось. Оно, в сущности, было начисто стерто к 25-й годовщине Победы, когда фронтовикам стали выдавать нагрудные знаки и к ним маленькие удостоверения за подписью тогдашнего министра обороны Гречко. В положении о Знаке было написано, что им награждаются солдаты и офицеры частей, штабов и учреждений действующей армии. Но учреждением действующей армии мог быть даже санаторий для генералов, расположенный

в сотнях километров от линии боев! И все его сотрудники тоже получали статус участника Великой Отечественной войны. Я всегда, разъясняя эти свои мысли, приводил пример: техник зубопротезной лаборатории Западного фронта, куда я был направлен после госпиталя, с таким же законным правом может считаться участником войны, как и я, которого он протезировал после челюстного ранения. А лаборатория эта находилась в ... Москве, в районе Покровских ворот.

Постепенно линия фронта на участке 49-й армии стабилизировалась в десятке километров от Серпухова. Слева от нас была 50-я армия, защищавшая Тулу, справа 43-я армия, развернутая в районе Наро-Фоминска. Помню, мы поддерживали связь с их штабами, с конным корпусом Белова и другими соединениями. Напряженными были переговоры в дни, когда немцы обошли Тулу и прорвались к Кашире...

В конце октября или начале ноября группу бойцов-радистов послали на двухнедельные армейские курсы младших специалистов. Посадили на полторку и повезли изумительно красивой дорогой. Вдоль нее поднимались склоны холмов, поросших густым высоким еловым лесом. Таких мест в Подмоскovie я больше не видал. Потом довольно долго ехали мимо нескольких рядов колючей проволоки. Видно было, что ими была ограждена очень обширная территория.

Внутри колючей проволоки оказалась еще одна ограда, а за ней я увидел красивый дворец с мраморными львами на воротах, невдалеке от него круглое здание типа ротонды (впоследствии я узнал, что это мавзолей)... На все это я смотрел широко раскрытыми глазами, как на чудо. Оказалось, что мы в известной усадьбе Семеновское, где до войны находился правительственный санаторий, да не простой, каких было много о ту пору, а какой-то особенный, потому что, как нам сказали, его охранял целый полк или даже два полка НКВД. Когда фронт приблизился, они быстро эвакуировались куда-то в тыл, а узнав об

этом, командование армии решило организовать здесь краткосрочные курсы фронтовых специалистов, отзывая на них солдат из разных частей, таким образом проводя подготовку к предстоявшему контрнаступлению. Это было, несомненно, мудрое решение (мы, разумеется, ни о чем таком не догадывались, а принимали все как данное: раз послали, значит надо). В сам дворец нас не пустили, а поселили в казармах НКВД, которые были вне основной закрытой территории. Лишь один раз, по поручению, я попал туда (видимо, к начальству курсов, которое, как всегда, постаралось устроиться получше). Запомнился огромный гобелен или картина на стене против парадной лестницы, большое мягкое кресло, в котором я наслаждался, ожидая вызова.

Прежняя охрана бежала, побросав все свое хозяйство, включая полные подвалы продуктов, которые нам оченьгодились, хорошо обставленные казармы и даже такое оборудование, какое никак не следовало оставлять. Например, однажды мы нашли очень заинтересовавший нас миниатюрный приемопередатчик, наверно, использовавшийся в разведке. У нас в армии тогда были в основном тяжелые переносные радиостанции типа 6-ПК (что расшифровывалось по-солдатски «6-пешком») или в лучшем случае РБМ, которые были чуть полегче. По секрету кто-то из приятелей рассказывал мне, что видел в подвале настоящую камеру пыток. Но что радовало, так это возможность спать на армейских койках, в относительно теплых помещениях.

В Семеновском я пробыл примерно две недели. Чему нас там учили, я не помню, но зато прочно запомнил замечательный обед, который был нам устроен по случаю праздника 7 ноября. Наши повара хорошо пошарили по подвалам и устроили царский пир в просторной солдатской столовой. Там были закуски, борщ, тушенка с рисом, кисель. И конечно, водка. Но главное, что я почему-то запомнил, были каперсы, о существовании которых я к тому времени просто не

знал. Кто-то из старших мне объяснил, что это дорогая и изысканная приправа, из чего я сделал законный вывод: обитатели правительственного санатория, на словах проповедуя равенство и братство, жили так, как нам, простым людям, никогда даже не снилось!

Окончив курсы, я вернулся в полк, уже зная, впрочем, что скоро нас всех разошлют по боевым частям. В ожидании приказа, продолжал дежурить на станции.

И тут я однажды получил еще один жизненный урок. Мне хотелось знать, что делается кругом, и между сеансами связи я иногда переключал приемник на радиовещательные станции, слушал "Последние известия". Причем, что важно: слушал на обоих языках: русском и немецком. И вот 7 декабря (эту дату легко было запомнить, потому что в тот день японцы совершили нападение на Перл-Харбор) мне удалось подряд прослушать четыре военных сводки: советскую на русском языке для своего населения и армии и на немецком языке для армии и населения противника, немецкую на немецком языке "для своих" и на русском языке для русских. Я получил не две, как еще можно было бы ожидать, а четыре разных картины одного и того же дня! Они различались во всем, даже в описании крупных событий. Например, о Перл-Харборе немцы почему-то сообщили в передаче для своих, но умолчали для русских. Наше Совинформбюро сообщило, что в этот день советским войскам удалось отбить у немцев Ростов-на-Дону, немецкая станция о боях в том районе просто не сказала ни слова. Цифры немецких потерь в наших передачах на русском и немецком языках различались на порядок и так далее, и тому подобное. Я тогда еще не знал такого понятия, как дезинформация противника, но для себя сделал вывод о том, что радио верить нельзя.

Интересно, что ни немцы, ни мы не сообщили седьмого числа, что накануне началось историческое

контрнаступление советских войск под Москвой. По каким-то деталям в радиопереговорах с дивизиями я понял, что на фронте что-то происходит, но в нашей армии пока все было спокойно. Она не была, как выяснилось впоследствии, на острие главного удара. У нас наступление началось лишь 17 декабря, за несколько дней до этого я и прибыл в 470 стрелковый полк 194 стрелковой дивизии. На этот раз землянку рыть не пришлось. Я только зашел с несколькими такими же новичками в штабной блиндаж, там меня записали и определили радистом в батальонный взвод связи, которым командовал лейтенант Генералов.²

Генералов мне понравился. Это был крепко сложенный молодой командир, кадровый военный, на несколько лет старше меня и имевший солидный боевой опыт. Я понял, что подчиненные к нему относятся хорошо, о нем по-доброму шутили: Когда комзвода вызывают по телефону и он отвечает: "Генералов лейтенант слушает!", то на другом конце провода падают в обморок. Он коротко рассказал нам о том, что 470-й полк сильно потрепан в боях, в батальонах насчитывается по сотне-полторы штыков, но ожидается пополнение. Собственно, и мы, несколько радистов, окончивших армейские курсы, были частью этого пополнения.

Меня комзвода принял благожелательно. Умение работать с морзянкой, как я понял, мне можно было забыть: все переговоры штаба батальона со штабом полка и соседями велись через микрофон. Надо было только выучить некий якобы секретный код: командира называть не командиром, а первым, требуя снарядов, говорить "пришлите огурцов", вместо бата-

² Точное ее название: 194-я Речицкая Краснознаменная дивизия, позднее она сражалась на Курской дуге, и в Белоруссии, свой боевой путь закончила под Кенигсбергом. Боевые заслуги полка тоже были высоко оценены – орденом Кутузова. С Алексеем Федоровичем Генераловым я увиделся на одной из встреч ветеранов 194-й стрелковой дивизии и потом мы с ним регулярно перезванивались по телефону, однажды он побывал у меня. Он достойно прошел всю войну, окончив ее капитаном, начальником связи полка. К сожалению, два года назад он скончался...

льона или роты называть хозяйство такого-то, по имени. Конечно, такие наивные способы засекречивания были смешны, но соблюдать порядок требовалось неукоснительно.

Был лютый мороз. Я не случайно упомянул о землянке: со дня прихода в полк, вплоть до ранения, то есть больше месяца, я почти ни разу не видел крыши над головой. Спал на снегу или устроившись на ветвях поваленных деревьев. Да и как спал? Минут двадцать, а то и меньше, подремлешь, потом – бегать, чтобы согреться! Правда, одет я был тепло: в ватнике и ватных брюках, в валенках и шинели. На голове шерстяной подшлемник с отверстием для носа и для глаз, и наконец, меховая ушанка. Да, забыл еще трехпалые варежки.

Первый бой, перейдя в наступление, полк принял на реке Протве, недалеко от села Троицкое, занятого врагом. Протву форсировали под ураганным огнем, многие шли по пояс в воде. Я же, находясь чуть ли не в полукилометре от наступающих цепей, собственно, боя не ощутил. Спокойно сидел на снегу со своей рацией и передавал в штаб полка донесения, а оттуда приказы: не замедлять движения, идти вперед, или сообщения о том, что хозяйство Иванова (третий батальон) нас опережает и выдвинулся на такие-то рубежи. Я находился в довольно глубокой ложине, и поэтому пули пролетали над моей головой.

Немецкий фронт был прорван, и полк начал преследование быстро отступавшего противника. Шли вперед днем и ночью, в сплошной снежной мгле. Шли растянувшейся колонной, а в некоторых местах – гуськом, по одному. Тащить на себе рацию вместе с вещмешком было тяжело. Спасибо Генералову, он где-то раздобыл лошадь с розвальнями, на которые положил рацию и еще кое-какое имущество и передал мне поводья. Легче мне, конечно, стало, но с этой лошадью я намучался – на всю жизнь запомнил!

Прежде всего, порою в снежной мгле даже дорогу не было видно, и мы двигались след в след за впе-

реди идущей колонной. Когда колонна останавливалась, моя лошадь почему-то продолжала идти, вызывая возмущенные крики бойцов. Мои "Тпру!, тпру!" доходили до нее слишком поздно. Но зато, когда впереди идущие возобновляли движение, я никак не мог ее стронуть с места и мы чуть не теряли направление. Я выходил из себя, ругал, хлестал ее без толку. Тогда я единственный раз в жизни стал ругаться даже матом. Да и что мог я, городской мальчишка, поделать с этой лошадейю? Когда мы остановились у какой-то не сожженной деревни, я не сумел даже распрячь лошадь. Спасибо, помогли бойцы с крестьянским опытом.

Так было несколько дней. Потом при одном из обстрелов осколок мины попал прямо в деревянный корпус моей 6-ПК и я остался без нее. Мне дали станцию РБМ, более легкую и удобную в работе, но и ею мне не пришлось долго попользоваться. Не было питания. Однажды на поле боя я нашел брошенный немцами маленький, очень удобный движок. Был вечер, под градом трассирующих пуль я поволоку находку в гору, на холм, где располагался наш взвод. Движок поразил меня своей рациональной конструкцией: он был как бы вделан в кубик, сваренный из легких труб. За какую сторону ни возьмись, у тебя есть ручка, на какую сторону его ни урони, он лежит, как будто так и надо... Я надеялся, что с помощью этого движка решу проблемы питания своей рации. Но не тут-то было. Кто-то из командиров сразу отобрал его у меня. Вскоре меня перевели из радистов в телефонисты, радиосвязи у батальона не стало.

За время нашего движения от Протвы до шоссе Малоярославец-Медынь фашисты несколько раз как бы огрызались и вели короткие по времени, но ожесточенные арьергардные бои. В одном из таких боев нашему полку противостоял финский лыжный батальон. Он был наголову разбит, по улице деревни, которую мы взяли, повсюду лежали трупы белообрисых парней, поразившие меня своей величиной - по-

видимому, это были специально отобранные рослые спортсмены. От батальона осталось несколько больших автомобильных фургонов, в которых на аккумуляторных стойках, с растяжками как на хорошей лыжной базе, хранились, я думаю, сотни лыж с палками. Кто-то из командования пришел к гениальной, как, наверное, тогда ему показалось, мысли: поставить весь полк на лыжи.

Так и сделали. Возле сожженной деревни устроили нечто вроде парада: полк в маскхалатах, на отдельных финских лыжах прошел мимо (очевидно, специально по этому случаю приглашенного) кинооператора, который нас снимал. Я много лет после войны внимательно всматривался в фильмы фронтовой кинохроники, надеясь увидеть эти кадры. Напрасно! Может быть, что-то произошло с оператором, мало ли что на фронте бывает, спрашивал я себя. Но потом сообразил, что, наверное, при просмотре фильма на студии съемку просто забраковали, потому что вряд ли она представляла нужное внушительное зрелище. Дело в том, что подавляющее большинство бойцов не умело ходить на лыжах. Кое-как проковыляв несколько сот метров от деревни, они побросали их на обочину в снег.

Только два или три десятка городских ребят, и я в том числе, лыж не выбросили. Из нас образовали нечто вроде передового дозора, который должен был идти впереди основной колонны. Командовать дозором назначили лейтенанта Генералова. И мы помчались вперед. Погода была морозная, но удивительно красивая, солнечная. Немцы далеко оторвались от нас, и мы чувствовали себя как на хорошей лыжной прогулке. Залезали в брошенные немцами блиндажи, там я находил коробки с шоколадом и каким-то неизвестным мне лакомством, называвшимся "Шокакола" (как я теперь понимаю, это было соединение шоколада с орехом кола, что должно было придавать солдатам Вермахта бодрости). Но с наибольшим интересом я читал оставленные ими газеты, в частно-

сти, "Фелькишер беобахтер". Там, помню, я нашел любопытный снимок, который потом показывал однополчанам: два эсэсовца гордо держат растянутое бархатное знамя с вышитым на нем костром и надписью "Смена смене идет". А подпись к снимку была примерно такая: "Доблестные эсэсовцы со знаменем разбитой воинской части Красной Армии." То ли не разобрались, то ли не захотели понять, что это знамя какого-то пионерского лагеря или отряда.

В другой газете я увидел надпись во всю первую полосу, ниже заголовка. Я запомнил ее дословно: "OberJude Litwinoff-Finkelschtein fährt nach Amerika!". Это означало: главный жид Литвинов-Финкельштейн едет в Америку. Так геббельсовская газета откликнулась на назначение М.М. Литвинова послом в США. Я много лет пытался понять, откуда они взяли фамилию Финкельштейн, но так и не дознался. Литвинов, как известно, псевдоним, но истинная его фамилия совсем иная. Наверное, выдумали просто так, для "наглядности" и разжигания антисемитских страстей.

Лыжи были замечательные, пружинистые. Скользили, что называется, сами. Но, увы, попользовался я ими недолго. Мы двигались по лесному массиву и наткнулись на сторожку лесничего, где обнаружили группу московских студентов, высадившихся в этих местах десантом и двигавшихся навстречу нашему полку. Зашли в сторожку, я поставил лыжи в сени. В доме было жарко натоплено, весело. Помню, хозяйка выкатила бочонок с промерзшей кислой капустой, она показалась мне необыкновенно вкусной, отличной закуской для водки.

А надо пояснить, что чего-чего, но водки, хлеба и сахара у нас было в досталь все это время. Нормальная горячая еда когда приходила, когда нет. Были специальные солдаты, которые в термосах с ремнями как у рюкзаков, на спине приносили обеды на передовую. Обычно это был жиденский гречневый суп, иногда – каша-концентрат. Куда только девались прославленные и вызывавшие у многих черную за-

висть «фронтовые пайки» (на бумаге-то они действительно были куда больше тыловых пайков, а тем более – карточных норм для гражданского населения)? Этого я не знаю. А вот перечисленные три продукта другое дело. Их заказывали старшины с вечера, а к утру, когда их подвозили, часть бойцов выбывала. Вот остальным и доставались их пайки. Бывали дни, когда я поступал так: на костре (или на догорающем деревенском доме) размораживал хлеб, потом резал его ножевым штыком от карабина, насыпал на куски сахарный песок и ел, запивая водкой. Иногда этого хватало на сутки. Между прочим, недавно я читал, будто бы представление о том, что водка согревает человека, неверно. Должен со всей решительностью опровергнуть этот якобы научный вывод: на собственном опыте я убедился, что если бы не водка, я просто не выжил бы месяц с лишним на снегу под открытым небом в лютые морозы зимы 1941-42 годов.

Так вот, мы весело и дружно провели часа два или больше в сторожке лесничего со студентами-десантниками, а когда я вышел в сени, моих лыж на месте не было. Так я их больше и не видел и долго по ним горевал.

Став из радистов телефонистом, я должен был с катушкой на спине прокладывать телефонные провода к командирам рот батальона, иногда взводов, при необходимости дежурить у телефона. И еще искать и исправлять повреждения на линии. А это, надо сказать, не только тяжелая, но и одна из самых опасных на фронте работ. Ведь если провод порвало, значит, скорее всего там упал снаряд, а где упал один, там будет и второй, и третий. Кроме того, линию могли перерезать вражеские разведчики и ждать в засаде, пока не появятся наши телефонисты. В общем, вариантов много, и все, как говорится, хуже.

Новый год я встретил, греясь у догоравшего дома. Такие дома нас спасали от холода, и не надо было жечь костры, которые могли нас демаскировать,

привлечь самолеты противника. Почти все деревни, которые мы проходили, представляли собой ряды кирпичных русских печей и догорающих вокруг них остатков бревен, которые когда-то были срубам. Я однажды едва не сжег на таком огне свою шинель, до самого ранения ходил с подпалинами на спине и на полах. Нам принесли новогодние подарки. Мне достались тряпичные рукавицы и кулечек драже...

Если взглянуть на карту, можно увидеть, что наш полк (как и вся 194-я дивизия) неуклонно продвигался к шоссе Москва Киев, чтобы его перерезать и таким образом затруднить противнику отход на подготовленные позиции. Перейдя шоссе у села Ильинское, полк вскоре достиг поселка Шанский завод, где, по видимому, была назначена встреча наступавших с разных сторон частей. (Во всяком случае, поселок, как ни странно, в основном уцелевший, был наводнен войсками: пехотой, артиллерией и даже конницей). Разумеется, тогда ни я, ни другие солдаты о стратегических замыслах командования не догадывались. На фронте солдат вообще ничего дальше своего окопа не видит и не знает даже своих командиров рангом выше комроты, в лучшем случае комбата. Мне еще повезло: я видел командира полка пару раз близко, потому что в штабе откуда-то прознали, что я владею немецким языком (то есть не откуда-то, а из-за того, что я каждому встречному показывал вырезку из "Фелькишер беобахтер" с "боевым" советским знаменем) и вызывали меня для перевода допросов редких тогда пленных. Штатный переводчик полка, успешно переводивший документы, совершенно не владел устной речью - ни он не понимал пленных, ни они его. (Это был мобилизованный молодой интеллигент, когда-то учивший немецкий в гимназии). А я в результате того, что детство мое прошло в Эстонии, владел языком свободно.

Выглядело это так: у командира взвода раздавался зуммер полевого телефона. Дежурный (иногда им был и я сам) получал распоряжение: быстро откоман-

дируйте вашего телефониста-еврейчика в штаб, одна нога здесь, другая – там!

Кстати, насчет "еврейчика". За все время в полку, да и вообще за все четыре года в армии я не слышал антисемитских высказываний, разве только беззлобную шутку, когда сидели вокруг костра и трепались: у Лопатникова, мол, карабин с кривым дулом, чтобы стрелять из-за угла. На что я совершенно серьезно отвечал, что тому, кто изобретет винтовку для стрельбы из-за угла, обязательно дадут сталинскую премию.

Так вот, я быстро собирался и шел в штаб полка. Помню, попал в плен один летчик, старший лейтенант. Он не желал отвечать ни на один вопрос, говорил только, что ненавидит русских и жалеет, что не сжег Москву дотла или что-то подобное, точно я сейчас, конечно, воспроизвести не сумею. Его вывели из блиндажа, где шел допрос, и расстреляли. Надо понять: наша ненависть к фашистам крепла в те дни буквально час от часу. Крепла, когда проходили сожженные деревни и я слышал в первый раз в жизни настоящие причитания обездоленных русских баб; крепла, когда полк после штурма взял село Ерденево, где местные жители прятались от огня в погреба, а гитлеровцы, отступая, распахивали люки и бросали туда гранаты. Ненависть смешивалась с презрением, когда мы обнаруживали в избах, где они до того жили, прямо на полу замерзшие экскременты. Эти славившиеся своей культурой немцы, боясь выйти из избы на мороз, извиняюсь, гадили тут же, в уголочке...

Другой пленный был разговорчивее, он рассказал много интересного и допрос шел несколько часов. В благодарность меня накормили обедом и отпустили в батальон.

Один эпизод такого рода был интереснее, я изложил его в микроновелле, вошедшей в цикл "Семейный альбом", который был опубликован в "Общей газете" №15 за 2000 год. Называлась новелла «Турецкие хлебцы». Я воспроизведу ее здесь целиком. Итак...

«Турецкие хлебцы»

Я с детства очень любил «Турецкие хлебцы» - было перед войной такое печенье, потом его по идеологическим соображениям переименовали в «Московские хлебцы», а дальше оно и вовсе исчезло с прилавков магазинов. Мне оно запомнилось в связи с одним из первых для меня жизненных уроков.

Под Новый 1942-й год на передовую привезли подарки. Мне достались трехпалые тканевые варежки и кулечек простого сахарного драже. Скромно, но и на том, как говорится, спасибо. Понимал: стране трудно.

Но тут командир взвода получил приказ: откомандировать меня в штаб полка с плененным немецким офицером. Так случилось уже несколько раз: штабной переводчик, старый интеллигент, хорошо переводил документы, но немцы его не понимали и он не понимал их живую речь. А я в силу ряда обстоятельств говорил по-немецки свободно. Для меня такие «командировки» в тыл, в непривычную тишину, были чем-то вроде праздника.

... Мы шли два или три километра по лесу, ориентируясь по проложенной мною же накануне телефонной линии, утопая в снегу и ведя оживленную беседу: я, вчерашний московский школьник с карабином в руках, и он, немолодой мобилизованный нацистами врач из Франкфурта-на-Майне (от него я узнал много интересного и неожиданного, но это для другого рассказа).

Наконец, миновав караул, спустились в блиндаж командира полка, сразу показавшийся мне более тесным, чем в прошлый раз. Присмотревшись, я понял, в чем дело: он был доверху уставлен новогодними подарками – ящиками с вином и коньяком, какими-то свертками и... большими коробками, на которых я прочитал (как сейчас, вижу эти написанные через трафарет буквы, такое они произвели на меня

впечатление!): крупно «Турецкие хлебцы», мелко «Ташкентская кондитерская фабрика».

Допрос я переводил с меньшим старанием, чем обычно, отвлекался. Праздник как-то потускнел...

И много лет спустя, когда бы разговор ни заходил о социальной справедливости, я вспоминал этот давний фронтовой эпизод».

В новелле я начинал с вызова в штаб, но была у этого эпизода предыстория, не менее существенная.

Мы вдвоем с одним телефонистом, пареньком из Подмосковья, между прочим, славившимся в батальоне своей бесшабашной храбростью, пошли по линии искать обрыв провода. Шли долго. Смеркалось. Провод тянулся сначала по лесу, потом прямо по краю выкопанной в снегу дороги.

Вижу, здесь снова требуется пояснение. Дело в том, что немцы на оккупированной территории выгоняли население копать заснеженные дороги до самой земли, иногда даже используя для этого громадные сбитые из бревен плуги - их тащили трактором или танком. Я видел один такой брошенный плуг вместе с трактором. Причем поскольку снег сгребался в стороны, дорога превращалась в некое подобие тоннеля, только без крыши. По ней могли ездить не наши допотопные дровни, а современные металлические повозки на пневматических шинах. Такие, брошенные отступавшими немецкими войсками, повозки я видел неоднократно и ощущал острую зависть: мне они казались венцом техники.

Снежные стены такой дороги достигали полутора-двух метров высоты. Вот в нее мы скатились и пошли по ней дальше, вытряхивая из снега присыпанный им провод. Вдруг услышали голоса, появились еле видимые во мгле черные фигуры. Их было трое или четверо. Мы сразу легли по обе стороны дороги и закричали: «Стой, кто идет!». Если бы это были наши, они ответили бы по-русски и сказали пароль. Но в ответ раздались выстрелы. Немцы! Мы тоже открыли огонь. Один немец упал, потом другой. Еще

двое обратились вспять и убежали. Осторожно подойдя к первому упавшему, мы не заметили на нем крови. Он был жив. Я спросил его: Вы ранены? Он, явно удивившись моему немецкому, ответил: нет, я не ранен. Тогда вставайте, сказал я ему. Погоня его удивила меня: он был майор, а такая птица, я знаю, у нас в полку в плен еще не попадала. Правда, тут же выяснилось, что он просто врач, майор медицинской службы.

Что было с ним делать? Ведь нам надо выполнять задание, идти по линии. Мы решили сдать его взводу разведки, который, как мы знали, устроился поблизости в отдельно стоявшем в лесу доме-сторожке. Правда, было опасение, что эти сорвиголовы (а у разведчиков была слава ребят не очень, как бы сказать, дисциплинированных, были среди них и бывшие уголовники) могут запросто пустить пленного в расход.

Но куда деваться? Сдали его, и пошли дальше. Когда же, через несколько часов, вернулись в сторожку, я был совершенно поражен увиденной картиной. Представьте себе: вокруг жарко пылающей буржуйки сидели, раздевшись до пояса, бойцы, а среди них тоже раздетый, почему я не сразу его и узнал, сидел мой немец и жестами объяснял им устройство своего пистолета!

Он был действительно симпатичный не очень молодой человек. По-русски знал лишь несколько слов и все же, каким-то непонятным мне способом сумел расположить к себе даже такую публику, как ребята из разведвзвода.

Как было сказано в новелле, я получил приказ доставить его в штаб полка. Штаб стоял в нескольких километрах от расположения нашего батальона. Мы шли с ним медленно, утопая в глубоком снегу, и, я бы сказал, дружески беседовали. Он рассказал, что до мобилизации был врачом во Франкфурте-на-Майне, имел свой кабинет. Сразу сообщил, что да, был членом НСДАП, то есть нацистской партии, потому что иначе, пояснил он, от него ушла бы вся клиентура. На

мои вопросы о Гитлере и его приближенных охотно ругал Геринга, Бормана и прочих боссов, но о Гитлере отзывался с почтением, считая его гениальной личностью. Он рассказал то, чего я тогда не знал: что при всей ужасающей ситуации с преследованием евреев, некоторые из них имели паспорта с надписью "Ценный еврей" (сокращенно W.J.) и они не знали никаких проблем.

На память он мне подарил замечательный перочинный ножик с немислимым количеством лезвий. Я берег его, но вскоре на пути в госпиталь кто-то на него, к сожалению, польстился.

Крупные бои наша дивизия вела за станцию Износки железной дороги Вязьма – Калуга. Там захватили несколько эшелонов с продуктами, водка, говорят, лилась рекой. Сам я этого не видел, потому что наш полк обошел Износки и пробился в тылы немецких войск. Между прочим, незадолго до этого пришло давно обещанное крупное пополнение: около 150 кадровых бойцов, прибывших из Сибири или Дальнего Востока. Они были одеты не так, как мы: в белых овчинных полушубках, сразу ставших предметом нашей черной зависти, несли за плечами не вещмешки "сидоры", как их называли, а аккуратные ранцы, в руках у них были автоматы - у нас только карабины и мосинские пятизарядные винтовки. И вот в одном из боев недалеко от станции Износки, по-моему, село называлось Семеновское, или Большое Семеновское, произошел наредкость ожесточенный бой, мы вспоминали его с Генераловым, когда он был у меня в гостях. Мясорубка! Но что важно: почти все новички тогда полегли, а наши старые бойцы остались в строю. Вот что значит опыт в любом деле, тем более в военном.

18 января с утра командование, откуда-то узнавшее, что по одной дороге должен двигаться крупный немецкий обоз, приказало выдвинуть туда засаду – одну из рот нашего батальона. К месту засады протянули линию связи, и меня с напарником по-

слали туда в распоряжение командира роты с телефоном. Засада была устроена в месте, где дорога входила в лес. Перед нами расстилались снега, чистые и пушистые. Солнце, висевшее низко над горизонтом, бросало длинные резкие тени. Было совершенно тихо. Я сделал в снегу яму и устроился в ней с комфортом, подстелив какой-то хворост. Немцы появились неожиданно, потому что дорога, как я уже писал, была выкопана глубиной с человеческий рост. Только когда они совсем приблизились, мы увидели спины лошадей и головы идущих рядом с повозками людей. Завязалась перестрелка. Я даже не успел сообразить, кто начал стрелять, мы или же они, увидев, что кто-то преграждает им путь. Наши бойцы бросились вперед, в атаку. Но глубокий снег резко замедлял их движение. Мой напарник был ранен, я снял свои рукавицы, чтобы ему помочь. В этот момент что-то тупо ударило меня в лицо, поначалу даже не очень больно как будто кто-то кулаком стукнул. Больнее был второй удар – по плечу (это, как выяснилось потом, было просто касательное ранение). Из рта хлынула кровь. Я начал сгребать снег в ладоши и совать его в рот, рассчитывая, что этим остановлю кровь, но она не унималась...

Очнулся я на санях, простых деревенских дровнях, которые везли троих раненых: два были положены вдоль саней и один, это был я, – поперек. Так что на каждом ухабе моя голова билась о край, и это было так больно, что я снова и снова терял сознание. Вся голова, шея и плечо у меня были забинтованы, сам я был закутан в шинель и укрыт каким-то одеялом. Не знаю, сколько меня так везли, по-моему, дня два. Перейдя фронт, обоз с ранеными достиг Медыни, там меня переложили в крытый грузовик, и скоро я попал в полевой госпиталь, в большую палатку, по краям которой лежали на сене, я думаю, несколько десятков раненых. Потом меня подняли на носилки и принесли в дом, где была операционная, там мне зашинировали перебитую челюсть и влили двойную

порцию крови - так много я ее потерял. Собравшись с силами, я спросил кого-то: где мы находимся? Мне ответили: в Ильинском. Так я понял, что в третий раз попал в Ильинское: первый раз, когда был в пионерском лагере, второй раз, когда село отбивали у немцев, а теперь вот на носилках. Мало того: я ведь знал, что во время боев в селе не сгорели только стоявшие в стороне, в леске строения нашего лагеря. А операционная была в доме, не в палатке. Значит, именно там, где был лагерь и может быть даже там, где была спальня моего отряда! Вот судьба!

Через день или два партию раненых погрузили в санитарные фургоны и повезли в Наро-Фоминск. Там мы оказались в здании, где, по-видимому, до войны был детский дом для испанских детей: когда везли на каталке, я заметил на дверях таблички на испанском языке. Здесь нас долго не задержали – сформировали эшелон и повезли в Москву. На вокзале стояли ряды подставки, на которые клали носилки с ранеными. Увидев над головой знакомые фрески Киевского вокзала, я заплакал.

Моя вторая жизнь

В госпитале

Санитарная машина показалась мне удивительно роскошной, кузов был освещен мягким оранжевым светом. Я лежал на своих носилках и пытался выглянуть в окно, чтобы понять, куда меня везут. Безуспешно. За окном было темно, По-моему, это было вечером – в январе ведь смеркается уже в пять часов. Потом выяснилось – я попал в Лефортово, в пересыльный госпиталь. Отсюда раненых распределяли в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. Мне повезло: доктора сочли меня «нетранспортабельным» и оставили в столице. Через два или три дня я оказался в Центральной клинической больнице НКПС, которая во время войны стала так называемым Эвакогоспиталем.

Наверное, у меня был очень неважный вид, потому что сначала меня положили в кабинет то ли главврача, то ли заведующего отделением: там стоял письменный стол, а прямо рядом с ним – каталка, на которой лежал и бредил тяжелораненый. Как я потом узнал, его не стали помещать в палату, чтобы он умер здесь, не травмируя других. По тем же соображениям, видимо, здесь поместили и меня, и тоже на каталке. С каждым днем я чувствовал себя хуже и хуже. То приходил в сознание, то снова его терял. Болело все: челюсть, плечо, кисти рук (они были забинтованы, а когда бинты сняли, я увидел, что обе они совершенно черные!),

ЦКБ путей сообщения была построена незадолго до войны, причем по последнему для того времени слову техники и комфорта – мне в этом смысле крупно повезло. Когда меня повезли в палату, деревянные двери с квадратными окнами одна за другой распахивались в обе стороны – достаточно было толкнуть их каталкой – это меня удивляло. Палата была на четыре койки, у каждой – тумбочка, переговорное устройство с радионаушником. Все три моих соседа (наверное, как и я сам) являли собой странную картину: плотно перебинтованные белые шары на белых подушках, видны только глаза, носы и рты. Все трое лежали пластом; в воздухе пахло гноем и ихтиоловкой (была тогда такая мазь). Это было челюстно-лицевое отделение, палата для «тяжелых»...

Не только здесь, но как я узнал позднее, и в других госпиталях у пациентов таких отделений сложился своеобразный фольклор: их в шутку называли «челюскинцами», об обеде они говорили так: «на первое суп-вода, на второе суп пожиже воды». Первое время я не пользовался ни стаканом, ни ложкой, ни тем более вилок или ножом: все заменяло некое подобие заварочного чайника, оно называлось «поильником». Из него меня и кормила дежурная сестра. Потом, по мере заживления челюсти, мне начали давать более густую пищу и, наконец, венец мечтаний – белый

хлеб. Через несколько дней после моего водворения в госпиталь ко мне приехали мама с Максом – им сообщил обо мне кто-то из врачей, и они шли пешком по жгучему морозу от Сокола по трамвайной линии до госпиталя (трамвай тогда еще не ходил, но вскоре движение было восстановлено). Большим подкреплением мне была смесь из какао-порошка, масла, сахара и еще из чего-то калорийного, которую Макс крутил по совету одного из знакомых.

Лечащим врачом у меня был Владимир Михайлович Рудько. Это был очень молодой красивый парень; он был в первые же дни войны досрочно (после четвертого курса, кажется), выпущен из Московского стоматологического института и направлен в госпиталь. Но те несколько месяцев, которые он провел здесь, вполне заменили ему многолетний стаж. Он рассказывал мне, что когда немцы приблизились в Москве, в здании больницы был развернут полевой госпиталь, где операции раненым делались по конвейерному методу: в подвале были расставлены пять столов – на первом раненого раздевали, на втором разбинтовывали, на третьем, собственно, оперировали, на четвертом забинтовывали и на пятом одевали. А врач с ассистентом и сестрами переходили от одного стола к другому...

Мы все звали его просто Володей. Когда он копался в моих ранах и я начинал стонать, он говорил (на всю жизнь запомнил я эту его присказку):

- Молчи, солдат! На то и медицина, чтобы больно было!

Знаю, что после войны он стал известным профессором, главным стоматологом Министерства здравоохранения, заведующим кафедрой Московского стоматологического института. Международная организация здравоохранения включила его в почетнейший список 25 лучших стоматологов мира. Это я узнал недавно, через Интернет. И возгордился: вот кто меня лечил! Он умер в 2009 году, в возрасте 90 лет.

Дело молодое, раны заживали, мне кажется, очень быстро, самочувствие мое улучшалось с каждым днем. 23 февраля меня даже вывезли на каталке в большой зал, где приехавшие артисты давали праздничный концерт. И тут произошел заслуживающий упоминания эпизод. Представьте себе картину. В центре зала десяток рядов стульев, где расположились «ходячие», как их тогда называли, а сзади, за ними, как бы образуя амфитеатр, десятка два каталок с «лежачими». И вот один из артистов читает стихи, посвященные защитникам столицы. С пафосом восклицает: «И поднялась Москва!»

А я со своего «амфитеатра» тихим голосом (как бы про себя) продолжил:

– И побежала...

Общий хохот заглушил чтеца, он смешался и замолчал.

Тут, чувствую, требуется пояснение. Нынешняя молодежь, да и многие люди старшего поколения, привыкшие к словосочетанию «Москва, город-герой», очень мало знают о том, что происходило на самом деле. И о том, как в то время фронтовики относились к москвичам. После паники, охватившей столицу 16 октября. После бегства тысяч руководителей предприятий и учреждений, бросавших на произвол судьбы своих работников, после разграбления магазинов и складов. После того, как, по слухам, в некоторых квартирах готовились «хлебом-солью» встречать победоносное гитлеровское воинство. Сведения обо всем этом доходили до фронта. Как и сведения о том, что только решительные и жестокие действия маршала Жукова удержали нескончаемые потоки беженцев на дорогах, ведущих на Восток. Вот почему моя реплика так охотно и, я бы сказал, весело была поддержана залом. Дело, как говорится прошлое, – но из песни слова не выкинешь: фронтовики москвичей не любили.

Несмотря на общее, как казалось, улучшение моего состояния, вдруг начала снова подниматься тем-

пература. Но главное, с каждым днем нарастала боль в груди – это, как стало ясно позднее, развивался тяжелейший абсцесс легкого, который я подхватил, заглатывая снег в рот, чтобы остановить кровь...

Врачи забили тревогу. Меня каждый день возили на рентген, каждый день делали анализы крови. Сестричек, которые по очереди приходили в палату с чемоданчиком и кололи меня, я считал красавицами (не знаю, так ли оно было в действительности), и шутливо называл «кровопийцами». Но уж чудесной русой косой, «до пят», сестры из рентгеновского кабинета я точно любовался с полным основанием. Любовался всегда, как бы ни донимала меня адская боль. И в один не прекрасный день я чуть не расплакался, обнаружив, что девушка... остриглась!

Рентгеновские снимки показывали, что гноем и жидкостью, которая называлась экссудатом, была заполнена чуть ли не вся грудная клетка. Ситуация осложнялась с каждым днем. Как мне сказали, удалось добыть только что появившийся тогда американский антибиотик, но и он не помогал...

Главным врачом госпиталя был очень известный советский врач профессор Т.П. Панченков. Сейчас почему-то термин «РОЭ по Панченкову», кажется, вышел из употребления, но люди старшего и среднего поколения хорошо его знают. РОЭ – «реакция оседания эритроцитов», проверялась при каждом анализе крови и считалась лучшим показателем воспалительных процессов в организме. Так вот, профессор и принял решение: сделать мне так называемую резекцию ребра, чтобы выпустить из грудной клетки накопившийся в ней гной. Он сам взялся прооперировать меня и, я знаю, получил согласие у мамы. Ассистировать должен был наш Володя Рудько.

На самом деле оперировал «для практики» Володя, а профессор наблюдал. Я сам это видел, потому что операцию делали не под общим, а под местным наркозом. Мне вырезали кусок одного из ребер, а в образовавшееся отверстие вставили резиновую труб-

ку – дренаж. В операционной остро запахло гноем. Когда меня привезли в палату, моя койка была реконструирована: в матрасе была проделана дырка, в нее вставлена трубка, через которую гной мог вытекать в обыкновенную молочную бутылку. В первые часы после того, как меня уложили, пришлось сменить несколько бутылок – так много из меня вытекло зловонной жидкости. Не сразу, но мне стало легче. Правда, вскоре пришлось мне пережить и еще одно испытание. Я вообще не курю, а тут Володя дал мне папиросу и велел поглубже вдохнуть – трудно передать, какую невыносимую боль я испытал в тот момент! Врач, оказывается, хотел проверить, сообщаются ли трахеи с зоной воспаления – или что-то еще, он подробно объяснял мне, но я все забыл. И действительно, через отверстие в спине повалил дым. Это было ужасно. Потом, когда рана зажила, у меня к двум шрамам – на шее и на плече, добавился третий – на спине (и всю жизнь врачи спрашивали меня, не осколочное ли это ранение, а мне приходилось объяснять, мол, нет, это только резекция ребра).

К этому времени, между прочим, более или менее пришли в порядок отмороженные кисти рук: черная кожа сошла, сменившись молодой – не сказать что розовой, скорее красной. Каждый день приходила врач-специалист по лечебной физкультуре. Она заставляла меня брать предметы разного размера: поильник, чашку, еще что-то, чтобы таким способом разрабатывать непослушные и неподвижные пальцы. К счастью, ей это удалось, но следы обморожения я испытываю всю жизнь: при малейшем похолодании, при малейшем ветерке, даже летом, пальцы обеих рук у меня либо становятся фиолетовыми, как намазанные чернилами, либо, что хуже, белеют и немеют, теряя всякую чувствительность. А «отходят» с острой болью.

Я начал сам, без помощи сестры, есть и пить. Постепенно силы прибывали, и когда я понял, что могу держать в руках не очень большую книгу, я стал про-

сдать мне что-нибудь почитать. Ко мне в палату начала регулярно приходить интеллигентная пожилая женщина – библиотекарь. Однажды она выругала меня за то, что я, чтобы удобнее было держать книгу, перегнул ее.

– Ей же больно, молодой человек! – говорила она – А если вас так перегнуть, что бы вы сказали?

Мы с ней подружились. Она подбирала для меня самые лучшие книжки. Особенно – помню – я тогда полюбил поэмы Гейне «Атта Троль» и «Германия». В книжке они были напечатаны очень удобно: на левой стороне по-немецки, на правой – в русском переводе. И мне было интересно сравнивать оригинал с переводом, анализировать переводческие приемы – кто знает, может быть тогда и закладывался в моем мозгу интерес к теперешней моей третьей (после журналистики и экономики) профессии – переводчика?

Если смотреть из двери, моя койка была у окна справа. На койке слева лежал юноша по фамилии М. (Эту фамилию я запомнил, но воспроизводить здесь не буду по причинам, которые станут ясны чуть позднее). Между нами был квадратный стол, а тумбочки стояли в ногах кроватей. За М., то есть слева, если глядеть от двери, лежал танкист по фамилии Ермаков – кроме лицевого ранения, у него было еще десятка два осколков в ногах. Громкоголосый балагур и здоровяк, он запомнился мне своим... обжорством. В госпитале был такой порядок: с утра каждому приносили на день батон белого хлеба, и его надо было по своему усмотрению разделить на завтрак, обед и ужин. А тут не успеет раздатчица вернуться с собственно завтраком, Ермаков уже съел батон, а в обед выпрашивает «добавку». О третьем соседе по палате сказать ничего не могу: по-моему, на эту койку клали ненадолго и люди сменялись, не оставив ничего в памяти. А вот с моим «визави» получилась довольно странная и до сих пор окончательно не разгаданная мной история. Это был парень моего возраста. Он очень многословно и красочно рассказывал о своих

военных подвигах – как ходил в штыковую атаку, брал «языков» и о тому подобных приключениях, – так что мы, остальные, даже не очень ему верили.

По-видимому, это имело под собой некие основания. Много-много лет спустя я увидел знакомую фамилию в одном литературном журнале – фамилию писателя, главного редактора. Нашел номер телефона, позвонил. Спросил, лежал ли он в госпитале ЦКБ НКПС в начале войны. Ответ меня удивил: не помню, я во многих госпиталях лежал. Но я знал, что у него должен быть характерный шрам на лице, и спросил о нем: а челюстное ранение у вас было? Нет, ответил он. Шрам есть, но это просто след операции, у меня когда-то было воспаление надкостницы. Дальнейшие «уточняющие» вопросы привели меня к выводу: молодого человека по какому-то благу спрятали в госпитале (может быть, говоря современным слогом, чтобы откосить от фронта!), а остальное – было делом его фантазии, которой всегда, как известно, обладают литературно одаренные люди.

Например, один мой друг, человек очень талантливый, как-то опубликовал воспоминания об описанном в предыдущей главе эпизоде – о нашей работе на строительстве оборонительного рубежа. Что он там наговорил! Вплоть до рукопашного боя, в котором якобы участвовали наши комсомольцы! И это тогда, когда немцы были в нескольких десятках километров от Издешкова. Но я убежден, что когда он все это писал, он твердо верил, что так оно и было.

А теперь вернусь в 1942 год, в госпиталь.

Знаете ли вы, что такое счастье? Я знаю. Это когда ты просыпаешься утром и вдруг ощущаешь, что у тебя ничто не болит: повернул голову – не болит! Сжал челюсти – не болит! Пошевелил плечом – не болит! И кисти рук не болят! И даже спина, где еще держится наклейка, не болит! Многого забылось, о многом я могу заставить себя вспомнить, о многом я не столько помню, сколько просто знаю: да, это было. Но не ощущаю сердцем, эмоционально. А здесь – дру-

гое. Это всегда со мной. Жаль, точная дата в памяти не сохранилась, но было это, видимо, в конце марта – начале апреля...

Кроме мамы и Макса меня начали посещать школьные товарищи, – вернее, школьные подруги, поскольку все юноши к тому времени были в армии, кто на фронте, как Коля Ботягин, кто в военных училищах, как Сережа Вегер и Яша Киршенбаум. Впрочем, среди посетителей был и один молодой человек, это Володя Зиновьев. Помню, он пришел, заполнив собою всю палату: крупный, раздавшийся в плечах, розовощекий, одетый в добротную новенькую форму, какой я ни на ком за фронтовые месяцы и не видел. Я был ему очень рад, просил заходить еще, а он мне потихоньку сказал, что пришел ко мне в первый и последний раз, потому что на днях «отбывает на задание».

Когда он ушел, соседи по палате сразу припечатали:
– У, тыловик, харю-то как отъел!

Знать бы им, что скоро он будет командиром большого партизанского отряда в белорусских и литовских лесах, получит орден боевого Красного знамени и кучу других орденов, два или три ранения...

Из девушек чаще всего приходили Нина Евкина, Лена Ихновская, Зоя Выскребенцева. Когда я встал с постели и начал ходить, была весна, чудесная погода, и мы гуляли в саду госпиталя. Вскоре Нина стала зенитчицей, а Лена – санинструктором в знаменитой Панфиловской дивизии, где и провела до Победы, которую застала в Таллинне. Зоя, кажется, в армию не попала, пошла учиться. Многие были в эвакуации.

Кроме чтения, я занимался игрой в домино. У меня как-то очень здорово получалось, и через какое-то время возле стола, стоявшего около моей койки, образовалось нечто вроде клуба; со всего госпиталя собирались любители этой игры, и мы с утра до вечера ожесточенно «забивали в козла».

Как сказано в моей справке о ранении, 11 июля 1942 года я был выписан из госпиталя в отпуск (сна-

чала на месяц, потом отпуск был продлен еще на два). Значит, попал я туда зимой, а вышел в разгар лета. Помню, я был одет в синюю заношенную гимнастерку (зеленой, видимо, не нашлось), в галифе, в ботинках с обмотками на худющих ногах-спичках. Еще дали мне (не мою, а чью-то еще) шинель и пилотку со звездочкой. На груди у меня было единственное, но очень тогда почитавшееся отличие – золотая и красная полосы, означавшие тяжелое и легкое ранение.

Самое главное – я встал на довольствие в каком-то военном учреждении. Не помню, как оно тогда называлось. Было оно на Стромынке, в известных Алексеевских казармах. Там мне выдавали сухой паек: несколько буханок хлеба и какие-то еще продукты, все это очень помогало нашей семье. Макс был освобожден от военной службы по болезни и работал в одном совхозе агрономом (я его там однажды навестил, но плохо помню, где это было; кажется, под Красногорском.).

Запомнилось, что в Москве тогда работал только один театр: оперный имени Станиславского и Немировича-Данченко. Я несколько раз покупал самые дешевые билеты в бельэтаж, а сидел в партере, где-нибудь в шестом ряду, потому что зрителей было всего несколько десятков на весь зал. Несколько раз ездил в родной мне Парк культуры имени Горького, но ничего знакомого там не находил. Помню, там были выставлены один или два сбитых немецких самолета. Воздушных тревог этим летом, как мне кажется (может быть, ошибаюсь?), в Москве не было. По газетам и радио (приемников, как известно, тогда не было, их заменяла «черная тарелка» на стене) я следил за тем, что происходило на фронтах: немцы неудержимо рвались к Волге, к Сталинграду и дальше – на Кавказ, к бакинской нефти.

Макса мобилизовали (в это время проходила «тотальная мобилизация», отменявшая всякие ограничения по здоровью и другие отсрочки от призыва). Он

попал на некоторое время писарем в Спасские казармы, где был сортировочный пункт: там комплектовали «команды» призывников и разных отбившихся от своих частей красноармейцев и направляли их по назначению для прохождения дальнейшей службы. Через какое-то время Макс обнаружил, что требованием для включения в одну такую команду было наличие среднего образования, и начальство по его просьбе включило его в этот список. Оказалось, что команда направлялась в Среднюю Азию в эвакуированный туда Ленинградский военный гидрометеорологический институт. Так что Максу крупно повезло. Он в этом институте проучился фактически всю войну, закончив его уже в Ленинграде.

Я тоже где-то в сентябре или октябре попал в Спасские казармы и, кажется, там ненадолго виделся с ним. Оттуда меня распределили в 65-ю авиационную эскадрилью связи Московского военного округа.

На московских аэродромах

Эскадрилья базировалась на существовавшем тогда Измайловском аэродроме; сейчас там находится известное цветочное хозяйство. Аэродром был маленький, с земляной взлетной полосой. Кроме нашей эскадрильи, состоявшей из двух десятков самолетов знаменитого типа У-2 (где буква У тогда расшифровывалась как «Учебный»), несколько позднее переименованных в По-2 (Поликарпов-2), там же базировался полк связи Главного штаба военно-морских сил. Его самолеты были крупнее, двухмоторные (если не ошибаюсь, это были переоборудованные пикирующие бомбардировщики).

Здесь, я считаю, начинается важный период моей жизни, продолжившийся до 1949 года – период, который я назвал бы аэродромным. Аэродромный быт, нравы, даже запахи аэродрома – все это мне хорошо знакомо. Все родное. В самом деле: хотя я не

был никаким авиационным специалистом, тем более летчиком, все оставшиеся годы войны я прослужил сначала на Измайловском и Чертановском аэродромах, затем на Центральном краснознаменном аэродроме РККА, откуда и демобилизовался... чтобы попасть на завод № 30 Минавиапрома (совпадение: сбранные на нем «Илы» вырубали из цеха прямо на ту же взлетную полосу, около которой я дежурил на Центральном аэродроме со своей рацией); и наконец, уехав в Свердловск с Наташей, направленной туда после окончания аспирантуры, я, по стечению обстоятельств, попал в многотиражную газету «Большевистские крылья» Уральского управления ГВФ – редакция располагалась в здании старого Свердловского аэровокзала. Там я и проработал вплоть до возвращения в Москву в 1949 году. Но это я отвлекся...

Командовал эскадрилей связи майор Токсубаев, человек невысокого роста, крепко сложенный. Штаб располагался в двухэтажном побеленном доме барачного типа. В другом (по-моему, одноэтажном) доме была казарма, в третьем – клуб с небольшим кинозалом. Еще имелась... гауптвахта, которая запомнилась мне навсегда. Я был так называемым нестроевым солдатом, то есть использовался на вспомогательных работах. Тогда был в ходу такой термин: «аэродромное обслуживание». Например, известное сокращение БАО означало: батальон аэродромного обслуживания. Вот этим я и занимался. И, был, как мне казалось тогда, неким изгоем. Для основного летного и технического состава мы как бы не существовали, они были обособленной кастой, аристократией со своей казармой, своей, как ее тогда называли «летной» столовой и так далее. Главная наша обязанность была – охранять аэродромные объекты (насколько помню, там был единственный ангар), а также ходить по определенному графику в наряд: заниматься уборкой, чистить картошку на кухне и тому подобное.

Был у нас старшина по фамилии Малегон. В армии тогда говорили, что старшины – украинцы это

самые строгие службисты, самые требовательные и беспощадные к солдатам. Малегон точно соответствовал этой характеристике, и у меня, в силу моего свободолюбивого нрава, сразу начались с ним конфликты. Например, из-за заправки койки. Старшина требовал безукоризненной заправки, по всем правилам казарменного быта мирного времени. А у меня никак это не получалось. А тут еще извечная антитеза военного времени: фронтовики – тыловики. Вот я на какое-то замечание и вспылал – дескать, я на фронте коек не видел, в окопах простыней не стелили, а вы тут, тыловики... и так далее. И – загремел в гауптвахту, не помню, кажется, суток на пять.

Другой случай был посерьезнее. Послали нас с еще одним нестроевиком, пожилым солдатом, убирать кабинет командира эскадрилии. А он, надо сказать, устроился неплохо. Где уж он что раздобыл - не знаю, но кабинет был устлан ковром, посередине стоял тяжеленный письменный стол, уставленный шикарным письменным прибором, лампой и другим добром. Токсубаев сидел за ним, пока мы убрали, и что-то, не помню, конечно, что именно, покрикивал на нас. Когда он сделал моему напарнику, ползавшему перед ним на коленях с тряпкой, очередное замечание, я опять вспылал и крикнул что-то вроде: «Мы в армии для того, чтобы родину защищать, а не кабинеты убирать, а вы еще издеваетесь над стариком!?».

Майор отреагировал мгновенно. «Дежурного по части ко мне!». И когда дежурный явился, то, указав на меня, заорал: «Десять суток строгой! Приказ оформляю потом»...

Надо пояснить: в те времена главным наказанием за мелкие провинности солдат и (кажется, только младших) офицеров была гауптвахта – простая и строгая. У нас в эскадрильи, очевидно, за неимением нужных помещений, все сидели вместе. Отличие было в питании. По правилам того времени, получивших «строгача» сажали на хлеб да воду (не на каждый день, а через день). И вот не забуду замечательный

случай, о котором долго рассказывали на аэродроме как анекдот. Обеды (как и завтраки, ужины) на гауптвахту приносили в специальном ведре. Случилось так, что сидели четверо: три на строгой, один на простой. Последнему полагался обед, остальным – нет. Но добрый повар, конечно, налил полное ведро супа, чтобы хватило всем. Старшина пронюхал про это нарушение порядка, явился на гауптвахту и спрашивает: для кого суп? Арестованные хором отвечают: (допустим) для Петрова! Старшина ставит перед ним ведро и кричит: ешь, все ешь, до дна!...

Один раз на нашей гауптвахте, помню, сидел молодой летчик, кажется, у него было звание сержант, но может быть, и младший лейтенант, он только что прибыл из летной школы. Он провинился попыткой повторить чкаловский подвиг: пролетел под проводами шестовой телефонной связи, в нескольких сантиметрах от земли. Наверное, это был талантливый летчик, но дальнейшей его судьбы, а он был вскоре направлен на фронт, я не знаю.

Кстати, наша эскадрилья, в силу своего тылового расположения и того, что она была оснащена самолетами У2, играла в какой-то мере роль учебной части, а также как бы реабилитационного центра для фронтовых пилотов, отстраненных от боевой летной работы по ранению или болезни. Например, однажды я узнал о том, что один из летчиков, по фамилии Маресьев, летал, вернее, заново учился летать, без ноги. Мне показали на него, когда я дежурил на проходной, а он вместе с группой других летчиков уходил в город. Да, да, это был именно тот самый Алексей Маресьев, герой войны и герой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»! Писатель рассказывает о его пребывании после госпиталя в учебной эскадрилье, но, не знаю, по каким соображениям, умалчивает, что на самом деле это была 65-я отдельная эскадрилья связи Московского военного округа. Когда где-то в 1943 или 1944 году я прочитал в «Правде» первый очерк о судьбе Маресьева (там он,

если не ошибаюсь, был назван Артемьевым), то сразу вспомнил о нем и понял, о ком идет речь.

Надо добавить, что был у нас еще один летчик, по фамилии, если не ошибаюсь, Бойко, который летал даже без обеих ног. Правда, ноги у него были ампутированы ниже колен. Он ходил на протезах очень свободно, даже танцевал. Помню, о нем по эскадрилье прошел замечательный рассказ: в первый же день его прибытия в часть, старшина в каптерке выдавал ему обмундирование и предложил, как было положено летчикам, меховые унты – а тот отказался. Старшина чуть не упал в обморок...

Как я упоминал, главным нашим (нестроевиков) делом была охрана аэродрома, основных его объектов: ангара, самолетной стоянки и стоянки бензозаправщиков. Помню как ночью, вглядываясь в завьюженную темноту, считал шаги, обходя ангар и ожидая вожделенной минуты, когда где-то вдали появится цепочка теней. По уставу, я должен был громко их окликнуть:

– Стой, кто идет!

И получив ответ «Разводящий со сменой!», приказать:

– Разводящий ко мне, остальные на месте!

Разводящий подходил, мы с ним обменивались паролем и отзывом (хотя друг друга прекрасно знали), и он производил смену караула. Вскоре, отряхивая снег с валенок, шапки и тулупа, я входил в ярко освещенное теплое караульное помещение, чтобы отдохнуть примерно три часа и снова заступить на смену.

Ритуал смены караула совершался и зимой, и летом, и ночью, и днем, так что приведенный уставной диалог мне запомнился на всю жизнь.

Я любил ходить на пост, находившийся возле стоянки автомашин-бензозаправщиков. Потому что там, среди водителей, был у меня приятель, пожилой солдат по фамилии Голицын. График его дежурств часто совпадал с моим. Он сидел в машине наготове – вдруг кому-то из летчиков срочно потребуется горю-

чее, я его охранял. Мы много с ним говорили на самые разные темы.

Я всегда вспоминаю его, когда на каком-нибудь застолье возникает обсуждение жгучего вопроса: чем закусывать коньяк?

– Хотите, расскажу вам, кто научил меня правильно пить коньяк? – вступаю я в разговор – Не более и не менее, как сам князь Голицын!...

А потом, насладившись произведенным впечатлением, продолжаю: надо взять ломтик лимона, насыпать на него сахара ... и рассказываю о своем однополчанине. Это был очень интересный человек. Революция застала его совсем юным. С родителями в эмиграцию он не поехал, женился, и как в те времена говорили, «опростился». Так всю жизнь прослужил «за баранкой», происхождение свое скрывал и потому счастливо избежал репрессий. Ты знаешь, говорил он мне, ведь я был фактически первым шофером в Москве: отец подарил мне машину, когда я был совсем мальчиком.

Иногда у меня закрадывалась мысль, не придумывает ли мой собеседник? Мало ли людей со знаменитыми фамилиями? Но его отличное знание дворянского быта, какие-то подробности в описании дома, семьи, явная его начитанность (мы много обсуждали классическую литературу), правильная речь, наконец, тот самый коньяк и другие правила хорошего тона, которые он мне преподавал – все это убеждало в правдивости его рассказов. К тому же, я уже знал тогда и другие истории «опрощения», например, сын моего соседа по квартире В.В. Алапкина, дворянин, женился на крестьянке и затерялся в просторах Сибири. Я знал, что в послереволюционные годы это было довольно распространенным социальным явлением, «опрощение» многим спасло жизнь. К сожалению, насколько мне известно, оно как-то выпало из сферы интересов нашей исторической науки.

Вдруг мое положение существенно изменилось. На аэродроме был клуб, где регулярно показывали

кино, выступал коллектив художественной самодеятельности (запомнились две фамилии популярных «актеров»: Гервиц – умница и юморист, Чебанюк – красивая девушка, кружившая головы молодым пилотам). Кино показывал техник-лейтенант, очень симпатичный интеллигентный парень. Неожиданно возникла проблема. Как я понял, часть не могла зарегистрировать киноустановку и получать с кинобазы фильмы, если у нее не было киномеханика с удостоверением.

А у меня как раз оно было: во время отпуска по ранению я однажды, случайно, набрел на краткосрочные курсы киномехаников и, прочитав учебник, легко сдал экзамен. Просто так, на всякий случай...

Техник-лейтенант (к сожалению, я забыл его фамилию), воспользовавшись моим удостоверением, установку зарегистрировал, однако мне крутить кино не доверил, ему самому нравилось это занятие. А мне за то была поручена очень привлекательная для меня работа: ездить на кинобазу, располагавшуюся около метро «Сокол», за фильмами. Путь неблизкий, и я получал увольнительную, по существу, на целый день. Так что по дороге я часто заезжал домой, вообще наслаждался свободой. В трамвае, в метро я время зря не тратил – читал. Круглые металлические коробки с кинолентами (в зависимости от фильма их было семь – десять штук), весили довольно прилично, но главная проблема была в другом. В метро возить киноленту – очень горючий материал – строго запрещалось. Как я сказал, кинобаза была недалеко от станции «Сокол», и контролеры, зная это, постоянно охотились за солдатами, нагруженными вещмешками округлой формы. Нужно было ускользнуть от них, затеряться в толпе пассажиров, и пройти незамеченным. Я же вскоре придумал «маскировку»: нечто в роде коробки из сложенных под прямым углом листов картона, и это помогало.

Примерно в это время я был переведен во взвод связи, и облазил на «кошках» все столбы телефонных линий... Именно с тех пор у меня надолго выработался странный рефлекс: еду на поезде и не могу оторвать взора от пробегающих за окном телефонных проводов, ищу, нет ли где-то обрыва. Однажды, помню, поймал себя на том, что испытал то же ощущение, глядя на струны какой-то гитары!

Летом 1943 года со мной случилась неприятность: загноилась, вспухла и страшно разболелась рана на шее – выходное отверстие моего челюстного ранения. Это довольно частое явление, о нем говорят: «открылась рана»... Меня отправили в госпиталь, где я пролежал, кажется, две недели. Еще одно удивительное совпадение: госпиталь находился на Ново-Басманной улице, в одном из зданий существующего до сих пор радиотехнического института, в двух шагах от дома, где я теперь живу! Проходя чуть ли не каждый день мимо окна на втором этаже, где была моя палата, я обязательно вспоминаю о том времени.

Осенью 1943 года наша эскадрилья – понятия не имею, по какой причине – перебазировалась на другой аэродром, Чертановский. Он был в полукилометре от деревни Чертаново, почти до околицы которой доходила тогда трамвайная линия из Москвы. Аэродромом его можно было назвать условно: была грунтовая взлетная полоса, стоянка для самолетов, и... что называется, ни кола, ни двора. Нам, солдатам, пришлось спешно копать землянки для себя и для командиров, оборудовать их всем необходимым. Я освоил еще одну профессию: стал электромонтером, проводил в землянки электричество. (Однажды хватанул рукой за оголенные провода – ударило так в сырой землянке, что метка до сих пор сохранилась у меня на правой ладони).

Опыт мне очень пригодился: в свободное время я подрабатывал тем, что чинил в деревне электричество, проводил свет в скотные дворы. Хозяйки расплачивались картошкой, я возил ее в своем вещмеш-

ке домой, маме, когда удавалось получить увольнительную. Тогда понял смысл поговорки: кому война, а кому мать родна. Меня поражало богатство крестьянских домов, в которых бывал. В голодное военное время чертановские бабы (мужиков, конечно, не было) на рынке выменивали за картошку, овощи и т.п., все, что душе было угодно: дорогую посуду, меховые шубы, даже мебель. Помню, какое впечатление произвел на меня буфет, в котором за стеклом была целая выставка стаканов с золотым обрезом: ряд маленьких, за ним ряд побольше, за ним – еще побольше. В другом доме молодая девушка хвасталась передо мной бесчисленными нарядами, в третьем... Наверное, то же самое было в других деревнях, расположенных недалеко от столицы. Географическая близость к городу тогда была очень важным фактором обогащения жителей.

Клуба, а значит, и киноустановки в Чертанове не было. Отпускали по увольнительной редко. Жизнь в эскадрильи, в землянке, становилась все более скучной и, я бы сказал, тошной. Спас – как в советское время бывало очень часто – блат. Моя мама до войны несколько раз, вместе с подругой по имени Клара, ездила на лето подрабатывать зубным врачом в санаторий для летчиков, на крымском курорте Саки. Вдруг обнаружилось, не знаю, может быть даже из газет, что один из ее пациентов, генерал-майор Курилов, стал не более и не менее, как начальником Центрального краснознаменного аэродрома имени Фрунзе. Кроме того, я иногда бывал у Тани Соболевой, из нашей школы, а ее отец (или, кажется, отчим) был еще более высоким начальником, генерал-лейтенантом авиации. Он мне сказал, что Центральный аэродром – замечательная воинская часть, не чета какой-то эскадрильи связи, что мне там будет интересно, для молодого человека там есть перспективы роста и так далее. По моей просьбе, мама обратилась к Курилову, прошло некоторое время, и я был откомандирован в распоряжение начальника Цен-

трального аэродрома, то есть получил официальный перевод из части в часть.

Два года, 1944 и 1945, я прослужил на Центральном аэродроме, и это были лучшие годы моей армейской жизни (вообще-то я отслужил, как тогда говорили, всю войну от звонка до звонка, был демобилизован в октябре 1945-го, взял свои нехитрые пожитки, вышел из проходной, сел в троллейбус номер 12, и через пятнадцать – двадцать минут был дома... Впрочем, к этому я, наверное, еще вернусь).

На Центральном краснознаменном

Центральный аэродром, как известно, в течение целого столетия занимал Ходынское поле, почему в просторечье и назывался Ходынкой. Некогда он располагался на окраине Москвы, а потом, когда столица разрослась, оказался чуть ли не в ее центре, окруженный многоэтажными жилыми кварталами.

Постараюсь по возможности подробно – для истории – описать его таким, каким я его видел, то есть в годы войны. Естественно, что после тех лет он многократно изменялся и сейчас от него осталось очень мало из того, что я знал.

Представьте себе огромный не совсем правильный четырехугольник от Ленинградского шоссе (потом оно стало Ленинградским проспектом) до леса, окаймлявшего Хорошовское шоссе, и от корпусов авиационного завода до здания старого Московского гражданского аэропорта (по которому была названа станция метро; оно стоит до сих пор, перед ним красивый сквер и высокая чугунная ограда).

Посередине этого прямоугольника располагалось главное достояние аэродрома – две скрещивающиеся бетонные взлетно-посадочные полосы. Одна длиннее, другая – короче. Об их размерах можно судить по такому факту: когда готовился Парад Победы, на одной из полос краской были обозначены контуры Красной

площади – она поместилась вся, целиком, и здесь проводились репетиции не только этого легендарного парада, но, позднее, и многих других парадов.

От Ленинградского шоссе территорию отделял сплошной деревянный забор (с внутренней стороны по нему были проложены провода караульной сигнализации, о которой, конечно, я еще скажу: одно время я занимал должность техника по сигнализации, и все эти провода знал как свои пять пальцев). К забору, на отдалении нескольких метров, примыкал длинный ряд одно и двухэтажных домов, начиная с солдатской столовой (она стояла перпендикулярно забору, упираясь в сквер перед зданием аэровокзала). Далее шла длинная двухэтажная казарма, протянувшаяся уже вдоль забора; каждый раз, на протяжении многих десятилетий, проезжая по совершенно преобразившемуся Ленинградскому проспекту, я не мог оторвать взора от этих больших окон, и если ехал не один, то сообщал своим спутникам: вот здесь я в молодости прожил два года...

Не помню назначения всех многочисленных строений этого ряда, но некоторые все же назвать могу. Во-первых, штаб дислоцированной на аэродроме АДОН, то есть авиационной дивизии особого назначения. Она состояла в основном из транспортных или точнее, пассажирских самолетов, которые в армейском просторечье называли «Дугласами». Это были, так сказать, летающие персональные машины членов Политбюро ЦК КПСС. Почему Центральный аэродром часто и называли «правительственным». Командиром дивизии был генерал-майор Грачев, личный пилот Сталина, очень молодой (ему тогда было, если не ошибаюсь, двадцать восемь или двадцать девять лет). Рослый, красивый парень, он отличался совсем не генеральской свободой поведения и демократизмом в обращении с подчиненными, гонял на мотоцикле по всему аэродрому. Помню, я сам видел, как он, подъехав к штабу, засунул четыре пальца в рот и разбойничьим свистом вызвал адъютанта; тот

сразу появился в окне второго этажа и между ними завязался разговор типа «Охалкин, возьми трубку!»... Летал он удивительно. Надо сказать, у каждого хорошего летчика – авиаторы это знают – вырабатывается свой «почерк». Так вот, забегая вперед, могу сказать, что когда я дежурил у полосы в так называемой стартовой команде, и видел идущий на посадку «Дуглас» Грачева, то сразу узнавал его по почерку. Такой легкости, такой отточенности виражей (а машина по тем временам была крупная, тяжелая, не истребитель какой-нибудь!) я, по-моему, больше не видел.

Впрочем, это не совсем точно. Попутно вспомнился не кто иной, как Василий Сталин, сын вождя, учившийся в свое время, как я уже писал, со мной в одной школе. Он тоже «летал как Бог» – такое выражение было распространено в авиации. И его тоже я угадывал в небе, когда он несколько раз прилетал к нам на аэродром (деталь: на хвосте его истребителя была нарисована не стандартная красная звезда, а орден Александра Невского, которым, видимо, был награжден «августейший пилот»).

Штаб АДОН располагался как раз посередине цепочки домов, о которой я рассказываю, около проходной, буквально в нескольких метрах от которой была остановка «Стрельня» троллейбуса номер 12, а также трамвая. Никогда не забуду того ощущения свободы, которое охватывало меня всякий раз, когда я выходил за порог этой проходной. Казалось даже, что воздух здесь был иной, воздух города!

Далее, если я что-то не перепутал, была большая офицерская столовая, которую было принято называть «Лётной столовой», потому что там питался в основном лётный состав: пилоты, штурманы. Им полагались особые «лётные» пайки, предмет зависти всего остального населения аэродрома. Надо сказать, что даже в труднейших условиях войны лётный состав питался сытно, полноценно, не хуже, чем в мирное время. И это было правильно, мудро. Много лет спустя я прочитал информацию о том, что учившихся в

СССР летчиков некоторых развивающихся стран приходилось, прежде чем сажать за штурвал, несколько месяцев в буквальном смысле откармливать. Иначе они не справились бы с нагрузками, связанными с вождением самолета.

Одно из следующих зданий, о котором я буду, конечно, рассказывать чуть позже, это караульное помещение, а дальше, прямо напротив известного Петровского дворца, был ГАМС, что расшифровывалось, если память не изменяет, как Главная аэрометеорологическая обсерватория. Это именно отсюда все пилоты Красной армии, где бы они ни были, перед вылетом получали прогнозы погоды. Очень важное учреждение и потому очень секретное. Я в нем не бывал, хотя ГАМС пользовался телефонной станцией, где я долгое время служил, и находившейся буквально в сотне метров.

Возле ГАМСа были ворота, открывавшиеся на Ленинградское шоссе. Дорога от них, между прочим, всегда летом, весной и осенью украшенная клумбами красивых, пахучих цветов, вела к командному пункту Центрального аэродрома (в нем на первом этаже располагалась и телефонная станция), а дальше к бетонированной площадке у начала главной взлетно-посадочной полосы. Небольшое очень пропорциональное и красивое здание командного пункта сохранилось до наших дней, и это правильно. Вокруг все изменилось: возникли многоэтажные здания управления Аэрофлота, гостиниц, огромный современный московский аэровокзал, а этот малюсенький на их фоне домик, к счастью, стоит. Не знаю, включен ли он в официальные реестры архитектурных или исторических памятников. Но это в полном смысле слова памятник истории. Именно здесь происходили разные исторические события, которые иногда снимались, а иногда и не снимались для кинохроники. Сюда в начале войны прилетали У.Черчилль и представитель Рузвельта Г.Гопкинс с визитами, заложившими основы антигитлеровской коа-

лиции. Я, помню, присутствовал с переносным телефоном при встрече и проводах таких гостей, как посол США Гарриман (он часто летал отсюда в Полтаву, где был конечный пункт так называемых челночных полетов американской авиации через Германию), видел прилет президента Финляндии Паасикиви на переговоры о сепаратном мире с этой страной, второй прилет Черчилля...

Через дорогу от ГАМСа, почти вплотную к забору, стояли два красных кирпичных здания, довольно угрюмых, где располагались хозяйственные службы аэродрома, финансовая часть и т.п. И, наконец, в самом углу, завершая примыкавшую к Ленинградскому шоссе сторону четырехугольника, стояло пожарное депо с несколькими пожарными машинами и централизованным пультом пожарно-караульной сигнализации. Вдоль всей этой «улицы», от солдатской столовой до пожарной вышки, была проложена асфальтовая дорога, и по ее другую сторону расположились несколько больших авиационных ангаров, а также стоянка самолетов АДОН.

Вообще, стоянки самолетов были размещены по всему периметру летного поля аэродрома. Здесь базировалось несколько авиационных частей. Всех я не помню, но три назову. Это, прежде всего, два истребительных полка, находившихся, как я понимал, в распоряжении Главного командования Красной армии. Один из них носил номер 11 – другого не помню. Отборные, заслуженные полки. Когда на том или ином фронте складывалась тяжелая воздушная обстановка, туда вылетали одна или две эскадрильи (по-моему, не было случаев, чтобы «исчезал» целый полк). Там они действовали одну – две, редко, – три недели и... возвращались со свеженарисованными звездочками на фюзеляжах «истребков» (как известно, каждая звездочка означала сбитый самолет противника). Мне казалось тогда, что чуть ли не все летчики этих полков имели звезды Героев Советского Союза. Наверное, я ошибался, но не сильно. Третий

полк – его стоянка была в самом конце летного поля, где начинался лес – был полк связи генерального штаба. Он состоял из американских двухмоторных самолетов B25, отличавшихся очень высокой скоростью. Ежедневно самолеты этого полка возили офицеров связи и фельдегерей с почтой в штабы всех фронтов.

Упомяну еще один, совершенно особняком стоявший возле одного из ангаров скромный самолетик, У-2. Он был бесхозный, не записанный ни в одну ведомость. Говорили, что кто-то бросил его во время московской паники осенью 1941 года, а потом его прибрала к рукам так называемая группа руководителей полетов. Так он и закрепился. Руководители полетов есть на каждом аэродроме, это очень важная должность. Как правило, на нее назначались летчики, списанные «на землю» по состоянию здоровья (обычно по ранению). Вот и у нас были четыре таких офицера, по очереди заступавшие на дежурство во главе стартовой команды (в нее входили радист с мобильной радиостанцией, сигнальщики с флажками, фельдшер с санитарной сумкой и еще кто-то). Соскучившись по полету, они в свободное время, обычно с рассветом, когда начальство еще спало, забирались в кабину, вырубивали на полосу и делали круг-другой над аэродромом. Начальство знало, конечно, об этом нарушении дисциплины, но смотрело на него сквозь пальцы. Пару раз майор по фамилии Забелинский, руководитель полетов (тогда я был у него радистом на старте) по моей просьбе «катал» меня на этом самолете, сажая во вторую кабину (У-2 был двухместным). Однажды, нарушая всякие запреты, мы с ним долетели до площади Маяковского и я с высоты птичьего полета, чуть вдалеке, видел свой родной дом... Незабываемое было впечатление! Но тут я, увлекшись, немного забежал вперед. Вернусь к исходной точке – знакомству с новым местом службы. Начал я службу на Центральном аэродроме рядовым солдатом взвода телефонистов-линейщиков роты связи. В большом зале казармы, куда я попал, рядами стояли двух-

этажные кровати. Мыть полы в казарме пришлось по полной программе – это первое солдатское дело. Вообще, порядки в роте вполне соответствовали не военному, а мирному времени. Строем на физзарядку, строим в столовую, строим в клуб на политзанятия, строим в дежурное помещение. Именно туда приходили сигналы о нарушениях связи, и надо было бежать на поиски повреждения, или заявки на рабочую силу – копать траншею, устанавливать столбы... Тут уже, конечно, ни о каком строе речи не было.

Строгая дисциплина, безукоризненная заправка постели, подшивка подворотничков, и особенно – ежедневная шагистика, которую я терпеть не мог, все это было не по моему свободолюбивому характеру. Но я подчинялся, как мог. Однажды, получив увольнительную за хорошее поведение, я дома нашел томик Бернса в переводах Маршака. Выучил наизусть и потом повторял к месту и не к месту, в разговорах с солдатами, а иногда и с офицерами, замечательные строки:

Явился трезвого трезвей /я в театральный зал/ но
пьяный щеголь сел туда, где я сидеть желал./ Назад
спроводили меня, под самый небосвод/ но если пуш-
ки загремят – меня пошлют вперед!

Офицеры на Центральном аэродроме были в основном очень культурные люди – не то, что в пехоте. Они все понимали. Разве что мягко советовали мне не болтать лишнего...

Я накапливал опыт телефониста-линейщика, быстрее многих чинил телефонные аппараты, меня стали посылать на ответственные задания, в том числе, скажем, исправлять телефоны в офицерских квартирах в городе, по ту сторону Ленинградского шоссе (для этого выписывалась увольнительная).

Но вот в один прекрасный день – вернее, в одну ночь, случилось событие, круто изменившее всю мою жизнь на Центральном аэродроме.

Было это летом 1944-го. Дневальный растолкал меня и сказал, что звонил начальник связи аэродрома,

приказал поднять меня по тревоге, и чтобы я немедленно явился к нему на командный пункт – на первый этаж, где располагался телефонный коммутатор.

– Что случилось?

– Понятия не имею, там узнаешь.

Я быстро оделся, натянул свои тяжелые кирзовые сапоги и побежал...

Там я узнал, что с неким сержантом, начальником телефонной станции, произошло какое-то ЧП, подробности я забыл, но, в общем, он попал под трибунал и я должен был занять его место.

Сказать-то просто, но я совершенно ничего не понимал в телефонных коммутаторах! Начсвязи дал мне книгу-инструкцию, и подбодрил: вы, я знаю, грамотный, разберетесь.

На коммутаторе дежурили телефонистки-вольнонаемные. Они хорошо относились к моему предшественнику, и новичка встретили если не в штыки, то не очень доброжелательно. Когда я спросил, как открыть какую-то дверцу, одна девушка отрезала:

Ты же начальник, должен знать!

В соседней комнате был кросс. Это такое устройство, куда подводятся телефонные провода и где, собственно, происходят соединения. С инструкцией в руках, я попытался в этом устройстве разобраться. И каким-то неосторожным движением вывел из строя десятку линий – да не простых, а как на зло! – линий правительственной связи: Центральный аэродром имел прямой выход на Кремль, КГБ, Ставку верховного главнокомандования и т.п.

Что делать? Если в самое ближайшее время не устранить неполадку, если вдруг утром кому-то потребуется позвонить сюда – все, теперь уже и мне трибунала не избежать!

Того, что я тогда пережил, я не мог забыть никогда.

Позвонил в казарму и позвал на помощь своего пожилого приятеля, сослуживца: я знал, что на гражданке он заведовал коммутатором на текстильной

фабрике. Через полчаса он пришел на станцию и быстро связь восстановил. Потом мы провели с ним еще много ночей, досконально изучая и попутно отлаживая аппаратуру – днем, когда сеть была загружена, это не получалось. Я очень тщательно проверил все соединения, реле, заменил ненадежные детали – и в конце концов у меня появилось много свободного времени, поскольку сбоев в работе стало меньше, а шагистикой меня не мучили, общие подъем и отбой меня не касались. С девушками-телефонистками постепенно отношения наладились. В общем, как теперь принято говорить, я стал чувствовать себя вполне комфортно.

Более того. Это было летом 1944 года. Начальство благожелательно отнеслось к моей идее, когда я вздумал поступить в заочный институт связи (как я уже говорил, аттестат с золотой каемкой освобождал меня от вступительных экзаменов).

Я понятия не имею, сказала ли во всем этом протекция, по которой я попал на аэродром. Генерал Курилов – внешне, по крайней мере – вообще ни малейшего интереса ко мне не проявлял, и видел-то я его за все время один-два раза, да и то издалека. Зато у меня появился другой покровитель – начальник штаба Центрального аэродрома подполковник Шаронов (к сожалению, имени и отчества его я не знаю, не знал и тогда – мы ведь всегда разговаривали «по уставу»). Это был замечательный человек. Высокий, стройный, очень образованный, он пользовался не просто уважением, но даже любовью солдат и офицеров. Он жил в одном из офицерских домов на Хорошовском шоссе с женой и, по-моему, двумя сыновьями. (Впрочем, может быть, в последнем я что-то перепутал). Запомнился такой эпизод. Один из наших сержантов отличился: пошел в увольнение, где-то в кино познакомился с девушкой, а вечером... повел ее в ЗАГС!

Мы на следующий день бурно обсуждали это событие, говорили о легкомысленности сержанта, о

рискованности его поступка. В разговор включился подполковник. Он тоже пожурил сержанта. А потом неожиданно заявил:

– Впрочем, всякое бывает. Я вот, помню, точно так же познакомился со своей женой в кино и точно так же, в тот же день мы зарегистрировались. Вот уже двадцать семь лет живем душа в душу!...

Я поступил на радиофакультет Московского заочного института связи, который располагался в районе Авиамоторной улицы, то есть на другом конце города. Выбрал именно радио, наверное, потому что это соответствовало моей основной военно-учетной специальности радиотелеграфиста, хотя на аэродроме в это время я занимался проводной связью. Да и вообще, радио меня интересовало больше, чем последняя – чувствовал, что это нечто более новое, современное, и вообще, за ним будущее.

В институте меня снабдили учебниками, контрольными заданиями. И я жадно принялся за учебу. Времени у меня было достаточно, потому что тщательно отлаженная за несколько месяцев аппаратура перестала ломаться и давать сбои, работала как часы. Иногда только приходилось заниматься как бы административной работой – следить, чтобы телефонистки во время заступали на смену, организовывать подмену, если одна из них заболела, и так далее. Режим дня у меня был свободный, надо было только в определенные часы успевать в столовую – если это не удавалось, приходилось униженно просить дежурного по кухне офицера накормить меня, оправдываясь (порою выдуманными) срочными работами на коммутаторе...

Я особенно увлеченно занимался высшей математикой, решал бесчисленные дифференциальные уравнения, задачи по аналитической геометрии. Я работал за небольшим столиком на телефонной станции, а иногда, в хорошую погоду – где-нибудь в укромном месте, в теничке... Мне было очень легко получать увольнительные записки – я ездил в инсти-

тут за книгами, на лабораторные работы, для сдачи контрольных заданий. Не скрою: иногда злоупотреблял этими возможностями. Однажды мы с Наташей пошли в Третьяковскую галерею и, к моему ужасу, нос к носу встретились с командиром роты, тем самым, который выписывал мне увольнительную в институт! Он был с женой. Слегка кивнул мне, не сказал ни слова, и мы разошлись. И надо отметить, он впоследствии не напоминал мне об этом, а в следующий раз, когда я снова обратился с просьбой об увольнении в город, просто подписал бумажку. Всю нашу дальнейшую жизнь мы с Наташей не раз тепло вспоминали эту встречу в Третьяковке.

Не знаю, по какой причине, осенью меня вдруг перевели на новую должность. Она называлась «техник караульно-пожарной сигнализации». Повторилась история с телефонной станцией – мне вновь пришлось изучать несложное, правда, хозяйство, и снова его отлаживать. Мое основное рабочее место находилось у пульта сигнализации на первом этаже здания пожарной охраны, рядом с двумя всегда готовыми к выезду по тревоге пожарными машинами. Их экипаж располагался на втором отапливаемом этаже, а внизу отопления не было, изо всех щелей огромных ворот задувал ветер со снегом – в общем, можно себе представить, каково мне было там сидеть и решать уравнения! Но я, как ни удивительно, выдерживал. Я был одет в полушубок, шапку, валенки, рукавицы – когда надо было что-то записать (карандашом, потому что чернила в чернильнице замерзали), я стягивал одну из них и потом быстро снова надевал. Вот так и занимался... Помню, я даже уговаривал себя, что на морозе думается легче. Из не очень продолжительного периода работы с пожарно-караульной сигнализацией (думаю, месяца три – четыре), мне запомнилось еще одно – очередной всплеск моего увлечения шахматами. Очередной, потому что в моей жизни их было несколько. Дело было так. Когда я пришел в одно из караульных помеще-

ний, чтобы посмотреть там сигнальную аппаратуру, то увидел на столе начальника караула, старшего лейтенанта, шахматную доску. Заметив мой интерес, он спросил, играю ли я в шахматы. Я ответил, что да, немного играю. А я, рассказал он, первокатегорник, был даже чемпионом области. Но давайте попробуем, дам вам фору – допустим, ладью!

Конечно, я и при такой форе проиграл. Потом еще раз, и еще. Но проигрыши раззадорили меня. Теперь я по делу и без дела стремился зайти в караульное помещение, и мы усаживались играть. Когда меня искал кто-то из начальства и звонил в караульное помещение, мой партнер неизменно отвечал: сержант Лопатников здесь, что-то там с аккумуляторами возится!

И делал очередной ход...

А проверить его было невозможно: в караульное помещение вход посторонним без разрешения начальника караула строго настрого воспрещен.

К концу нашей дружбы я натренировался так, что фору пришлось отменить, я часто сводил игру к ничьей, иногда даже стал выигрывать.

Но потом меня снова перевели на другое место службы: радистом (официально это называлось начальником радиостанции) стартовой команды аэродрома. Здесь, на летном поле, я провел практически весь последний год, 1945-й. Не могу сказать, что это был легкий период моей жизни, но во всяком случае, для меня, молодого тогда человека, это был очень интересный период. К сожалению, резко сократилось свободное время, которое я мог уделять своим занятиям: дежурства в стартовой команде, по существу, длились весь световой день, от начала до конца полетов. (Впрочем, сейчас я уже забыл, но, наверное, пересменки, просветы, все же были, и в институт мне удавалось ездить, особенно на экзаменационные сессии). Я уже писал о том, что представляла собой стартовая команда во главе с руководителем полетов. Упоминал майора Забелинского, кото-

рый катал меня на У-2. Это был очень славный, веселый офицер. На меня, произвел впечатление такой эпизод. Это было весной, в апреле. Уже часа в четыре утра было совершенно светло; выяснив направление ветра, мы выбрали взлетно-посадочную полосу, у начала которой разместилась команда. И тут вдруг Забелинский с криком «Христос воскрес!» бросился целовать всех наших девушек подряд – их было, думаю, человек пять или шесть: фельдшер, медсестры, сигнальщицы и еще кто-то. Оказывается, в это воскресенье была пасха, о которой в те времена мы, атеисты, вообще даже не вспоминали. Поэтому я сначала не понял, что произошло. Девушки, как могли, уворачивались, выскальзывали из объятий, визжали, но майор был непреклонен. Пока всех не перещеловал, не успокоился. Наверное, другие солдаты смотрели на это с завистью. Я – нет, потому что в это время начинал разворачиваться наш роман с Наташей, роман, который продолжается по сей день...

Я много чего повидал, дежуря на летном поле Центрального аэродрома. И хорошего, и страшного. Однажды, например, я передал по радию разрешение на посадку самолету из полка связи генштаба, двухмоторному Б25. Казалось, все шло в штатном режиме. Самолет вышел к полосе, коснулся ее и начал тормозить. Но вдруг что-то случилось – видимо отказали тормоза, и самолет с огромной скоростью промчался по всей полосе, врезался в лес, находившийся на противоположной от нас стороне аэродрома. Раздался взрыв, над лесом поднялся густой черный столб дыма. Санитарные машины помчались туда. Но уже было поздно (хотя и говорили, что кто-то из экипажа успел выскочить и спастся – как было на самом деле, я так и не узнал). Разумеется, нигде в газетах о катастрофе, случившейся не где-нибудь, а почти в центре самой Москвы, не писали. Знали о ней только мы, да жители окрестных домов.

Другой памятный эпизод произошел зимой или ранней весной. В Москву, нам сообщили, летел спе-

циальный самолет в сопровождении пяти истребителей. Надо было обеспечить им встречу. Кто летит, разумеется, не сообщали – лишь позднее мы узнали, что это была финская делегация, направлявшаяся на переговоры о мире между нашими странами. Самолет был шведский, он перелетел через фронт по условленному сигналу, и дальше его сопровождали наши истребители.

Погода была чудовищная: сплошной снег, ветер, видимость – никакая. Три из пяти истребителей просто потеряли «охраняемый объект» где-то около Твери, там благополучно приземлились. Два оставшихся ориентировались на ярко оранжевое пятно – самолет был специально выкрашен в этот наиболее заметный цвет, и продолжали движение к Москве. Мы вели переговоры с советским штурманом, который был в самолете; он хорошо знал Центральный аэродром и общался о своем решении идти на посадку, несмотря ни на какие погодные условия. Совершенно неожиданно мы за своей спиной услышали шум мотора и увидели, как из-за заводских корпусов, точно на нашу полосу заходит на посадку оранжевый «Дуглас». Надо сказать, что полоса была тщательно очищена от снега – роторные снегоочистители работали беспереывно. По краям полосы накопились высокие сугробы, а само поле было покрыто, наверное, метровым слоем снега. Самолет сел нормально. А через мгновение, с обеих сторон взлетно-посадочной полосы появились истребители. Их пилоты явно не подозревали, что оказались почти на земле, не успели даже выпустить шасси. Может быть, это и к счастью: плюхнувшись на снег, они резко затормозили, винты – вдребезги, но сами пилоты остались живы...

Прилетевший самолет отрулил на стоянку, где задержался, помню, довольно надолго. В целях конспирации его покрыли заранее приготовленным чехлом, скрыв написанные на нем крупные буквы Sweden...

Наконец, еще один характерный для того времени случай. Дело было на майские праздники. На аэро-

дром прилетела – не знаю, по какому случаю, эскадрилья американских истребителей «Кобра» (Нам они были интересны тем, что у них было переднее шасси, в отличие от отечественных самолетов. И они стояли как стрекозы, задравшие хвосты к небу. У них была хорошая скорость, но, по отзывам знакомых летчиков, не очень высокая маневренность – но это так, к слову).

И вот представьте себе. Американцы собрались у своих машин, чего-то ждут. Их стоянка недалеко от того конца полосы, где расположилась наша стартовая команда. Вдруг открываются большие заводские ворота, выходящие на летное поле, и из них вырывается новенький штурмовик Ил-2. Запрашивает разрешения на вылет известный летчик-испытатель Константин Коккинаки. Быстро выехал на старт, приветственно помахал нам рукой и дал газу. Мы думали, что он, как обычно, сразу покинет аэродром и, не сворачивая, уйдет в зону испытательных полетов. А он развернулся над аэродромом и начал выделять всякие фигуры высшего пилотажа: петли, бочки, горки...

Надо пояснить: штурмовик Ил-2, этот летающий танк, – все пилоты это знали, отличался чрезвычайно трудным управлением. Что там фигуры высшего пилотажа: как говорили в авиации, не пилот управляет этой машиной, а она его ведет. Многие молодые летчики просто с ней не справлялись.

Разумеется, и американцы все это знали. Поэтому, увидев, что творится в небе над аэродромом, они гурьбой побежали к нам, спрашивая, кто это в воздухе? Как это возможно? Услышав имя Коккинаки, они, как им казалось, что-то поняли. Имя им было хорошо знакомо по историческому перелету Владимира Коккинаки в Америку. Они долго стояли около нашего старта и аплодировали. Они только, по моему, так и не разобрались, что речь идет не о Владимире, а о его брате Константине, и что тот таким образом отмечал свой очередной орден, полученный накануне (он сам рассказал нам об этом, когда приземлился...).

Много еще интересного можно было увидеть во время дежурств у взлетной полосы. Например, я видел, наверное, один из первых полетов самолета с реактивным, а не винтовым двигателем. Мы с удивлением наблюдали сноп огня, вырывающийся из отверстия в теле самолета. Не верилось, что он сможет оторваться от земли. Но – оторвался, полетел. Видел громадные, каких у нас не бывало в то время, самолеты, на которых прилетали в Москву Уинстон Черчилль с большой делегацией. Наконец, видел репетицию Парада победы – о чем уже упоминал. Известно, что из-за плохой погоды тогда воздушный парад был отменен, хотя все было к нему готово. Между прочим, в тот вечер я был направлен связным, с каким-то документом, в штаб МВО (он был в районе Пироговской улицы) и по дороге из своего «Виллиса» наблюдал толпы торжествующих москвичей на Триумфальной площади и по всему Садовому кольцу... Незабываемое зрелище!

Сразу после Победы был издан Указ о досрочной демобилизации всех фронтовиков, имеющих тяжелые боевые ранения. Я, что называется, наострил лыжи. Но не тут-то было: началась японская кампания, демобилизацию отложили. Возобновились разговоры о ней только в сентябре – октябре. Меня вызвали на медкомиссию, потом к «особисту», который сказал, что я в соответствии с приказом Сталина³ представлен к ордену «Красной звезды» (о чем я с мальчишеской легкомысленностью радостно написал кому-то из друзей, кажется, Яше. И зря! Лишь четверть века спустя меня вызвали в военкомат и вручили награду – правда, не орден, а медаль «За отвагу», которой я, впрочем, очень дорожу).

³ Известно, что в начале войны, в тяжелое время, орденами на фронте хотя и награждали, конечно, но очень редко, в исключительных случаях. Для тысяч тяжело раненных, выбывших из строя, война заканчивалась без всяких наград. А в конце войны, естественно, ситуация была другой: ордена и медали на фронтовиков сыпались дождем. Чтобы исправить возникшую несправедливость, был издан приказ о награждении имеющих тяжелое ранение фронтовиков, не получивших других наград.

И вот 25 октября 1945 года я в последний раз вышел из проходной Центрального аэродрома. Сел на троллейбус № 12, и через двадцать минут, а может быть и меньше, я был дома...

«На гражданке». Начало...

Мне был положен месячный отпуск и, как сержанту, выходное пособие: 900 рублей за каждый год службы, итого 3600. Прежде всего, мы с Наташей пошли в комиссионный магазин около Петровских ворот, и за 2 тысячи с чем-то купили почти новый коричневый «шевиотовый» костюм. Очень хотелось поскорее обрести «гражданский вид»! На что ушли остальные деньги – не помню. Получил серенькую книжку инвалида Отечественной войны с пенсией 125 рублей в месяц.

Надо было думать о работе. Для меня, казалось, ничего не было проще: телефонная станция Центрального аэродрома была тесно связана с Миусским телефонным узлом Москвы. Меня там знали. И стоило мне обратиться к кому-то из руководства, последовал ответ: в понедельник выходи на работу, на должность техника. А там – оформим...

И вот тут произошло то, о чем я много раз задумывался впоследствии: о роли, казалось бы, самого незначительного случая в судьбе человека, или, как сейчас часто говорят, в его линии жизни...

В моем представлении, тогда эта линия выстраивалась четко. Я учился в заочном институте связи, на втором курсе. Учился неплохо – почти на одни пятерки. Через три - четыре года стану инженером, потом, может быть, пойду в аспирантуру, а там, глядишь, и до профессора дойду, как мой знакомый начальник радиостанции в полку связи...

Но... В понедельник я заболел – простудился. Пролежал несколько дней и... не решился выйти на работу. Думал, как на меня там посмотрят? Неудобно!

Мальчишка – одно слово...

А тут моя двоюродная сестра Стелла рассказала мужу, имевшему отношение к журналистике, о моих «стенгазетных» подвигах (она училась в той же школе, классом младше меня). И он предложил мне пойти с ним на семинар работников редакций радиовещания предприятий Москвы – просто так, для интереса. Семинар проводился в Московском доме партпросвещения на Малой Дмитровке, там, где сейчас находится театр Ленком. В конце, или в перерыве – точно не помню, кузен зычным голосом прокричал: Кому нужен сотрудник, демобилизованный из армии?

И вокруг меня, без преувеличения, образовалась толпа. Все наперебой называли свои заводы, фабрики, учреждения – тогда редакции радиовещания были очень распространены. Они не только во многих случаях заменяли многотиражки, содержать которые было дорого, но и позволяли оповещать коллективы о всяких бытовых «новостях»: о выдаче талонов (на продукты, на посещение бани – мало ли на что еще?); об изменениях в режиме работы... По радио звучало самое главное – объявление воздушной тревоги. Так что громкоговорители были повсюду – в цехах, комнатах отдыха, кабинетах...

Недолго думая, я выбрал завод № 30 Министерства авиационной промышленности. Прежде всего, по причине его территориальной близости к дому: я мог доехать до него все тем же троллейбусом номер 12 или на метро – до станции «Динамо». Кроме того, я, собственно, уже немного знал этот завод, поскольку его большие ворота, через которые выкатывались новенькие самолеты-штурмовики, выходили прямо на летное поле Центрального аэродрома (помните рассказанный выше эпизод с высшим пилотажем Константина Коккинаки?), к нам на старт порою приходили инженеры и техники, сопровождавшие «испытания новой техники», как тогда выражались.

11 декабря 1945 года я впервые вышел на работу. Собственно, с этого дня надо отсчитывать мой

журналистский стаж. Значит, сегодня он составляет более 68 лет. Неплохой стаж!

Редакция занимала комнатку в здании заводоуправления – это вне собственно заводской территории, рядом с главной проходной. Редактором был молодой человек болезненного вида, очень благожелательный – Вячеслав Иванович Керин. Коммунист, выдвиженец из рабочих или мастеров, он был известен, и, как я вскоре убедился, пользовался авторитетом в коллективе. Никаким журналистом он, конечно, не был: просто партком назначил его редактором, когда потребовалось. Вторая была Наташа Булавинцева, красивая молодая женщина с характерным профилем (когда однажды на демонстрацию она пришла с дочерью лет девяти, я поразился: один профиль, хоть медаль выбивай!). С ней мы быстро подружились, именно она начала вводить меня в курс дела.

Это было не так-то просто. Завод – огромный, один из крупнейших в Москве. На нем тогда работали десятки тысяч людей. Основные цеха – механические, механосборочные и сборочные занимали так называемый монолит, по существу, одно здание, протянувшееся на сотни метров как в длину, так и в ширину. Кроме того, отдельные здания занимали, если память не изменяет, литейные цеха, ЦЗЛ (центральная заводская лаборатория), склад металлов и некоторые другие. Завод был, естественно, режимным, со строгой пропускной системой – рабочий или сотрудник одного цеха не мог пройти в другой цех, понятия не имел, что в нем делается. Мы, в редакции, имели пропуски, позволявшие пересекать проходную в любое время, бывать почти во всех цехах и отделах.

Надо заметить, что кроме производства, завод объединял еще огромное хозяйство вне его территории: кварталы жилых домов и общежитий, сеть магазинов (среди которых специальный для инвалидов Отечественной войны, куда меня сразу же прикрепил

ли), Фабрика-кухня (или Комбинат питания), Дом культуры на улице Правды, спортивный комплекс и многое другое. Все это было, так сказать, полем деятельности заводских журналистов. Уместно заметить, конечно, – не только нашей редакции радиовещания, куда я попал, но и ежедневной четырехполосной газеты «Заводская правда», одной из самых больших и авторитетных многотиражек Москвы. О ней я еще буду писать, поскольку, уезжая в Свердловск в 1948 году, я увольнялся уже с должности ответственного секретаря «Заводской правды». Редактором был Федор Федорович Скуднов, еще было четыре или пять сотрудников.

А пока вернусь к первым дням на заводе.

Вячеслав Иванович, для начала, провел меня по некоторым ближайшим цехам, познакомил с одним-двумя знакомыми мастерами, рабочими передовиками производства, технологами и нормировщиками. Сказал, что сведения можно получать у парторгов и комсоргов цехов, и кое-что интересное можно найти даже на досках показателей и досках объявлений, а также в цеховых стенгазетах. А дальше предоставил мне действовать самостоятельно.

Внимание! Говорит редакция радиовещания завода... Этими словами дважды в день начинался выпуск новостей, продолжавшийся всего-то, если память не изменяет, 15 минут. А работы для него требовалось на целый день!

Спустя несколько дней я с гордостью рассказывал Наташе, когда мы с ней гуляли, что написал заметку в пять-шесть строк, она одобрена Кериным и прочитана в очередном выпуске. Тогда для меня было почти недостижимым делом (и мечтой!) написать текст выступления какого-нибудь передовика производства, размером в целую страницу... Но вскоре преодолел и этот «барьер». В общем, начал набираться опыта. На заводе мне все было интересно: я мог долго следить, как на токарном станке вытачивается какая-нибудь деталь, как работает громадный, чуть ли

не единственный в стране такого размера гидравлический пресс, одним ударом выдавливающий сложной конструкции лонжерон самолетного крыла, как льется ослепляюще красный металл в литейном цехе. Как выкраиваются замысловатые листы обшивки самолета, и многое иное. Мне был интересен чудо-мастер, о котором писал, как тогда говорили, «зарисовку», я даже фамилию его запомнил – Колот. Он был слесарь-лекальщик в инструментальном цехе, оперировал микронами. Руководство им очень дорожило, ему даже дали отдельную комнату в общежитии (я побывал у него). Был интересен инженер заводской лаборатории (Бендеров по фамилии), автор многих изобретений. И токарь-многостаночница, симпатичная деревенская девушка. И, конечно, пилоты ЛИС, летно-испытательной станции, вроде знакомого уже нам Кости (простите за фамильярность, но так его все звали тогда на заводе) Коккинаки.

Тогда я впервые, между прочим, понял слово «технология», осознал ее значение для всякого производства. Это было для меня важным открытием: мы все привыкли слышать имена конструкторов: Туполев, Ильюшин, Шпагин и так далее. А вот о тех, кто, собственно, реализует конструкторские замыслы, говорилось мало. Обязанности и значение технолога, его важнейшую роль в производстве я себе тогда даже не представлял. А теперь – понял.

Вот так, постепенно, я познавал заводскую жизнь. Участвовал в партийных собраниях. (Еще в армии я вступил в кандидаты партии, а вот с переходом в члены случилась накладка. Тогда полагалось, чтобы рекомендующие знали рекомендуемого не менее года. А меня, когда подошел срок, на заводе знали месяц-другой. Вот и пришлось мне вместо годичного пройти двухлетний кандидатский стаж, не предусмотренный уставом. В одном из цехов вел кружок по изучению... биографии Сталина! Сейчас, когда я стал ярым антисталинистом, написал книгу о

Сталине и сталинизме, это может вызвать вопросы. Но ведь прошло более полувека...).

Зарплата была небольшая, если не изменяет память, на первых порах я получал 800 рублей в месяц. Потом 1200. Но, как инвалиду войны, завод помогал мне всякими льготами. Например, я получал так называемые талоны УДП? Знаете ли вы что это такое? Объясняю. Усиленное дополнительное питание; на заводе, правда, эти три буквы расшифровывали чуть иначе: «Умрешь днем позже». Но шутки шутками, это было в то голодное время неплохим подспорьем. В обеденный перерыв я ходил на Фабрику-кухню, и там сытно обедал.

На заводе я проработал, без малого, три года – до сентября 1948-го. Работал с увлечением. Всякий раз, выходя из редакции на три-четыре часа, возвращался с блокнотом, набитым записями разговоров (интервью), идеями и темами будущих материалов. Потом садился и оформлял все это в тексты для передач. Чаще всего, конечно, это были примитивные, стандартные для того времени сообщения типа «Токарь Пупкин вышел на первое место в своем цехе, выполнив норму на 150 процентов» или «Комсомольско-молодежная бригада Екатерины Петровой приняла новые социалистические обязательства», или «В Доме культуры состоялся концерт народного артиста...», или сообщение о презентации книги какого-нибудь официально «модного» писателя в заводской библиотеке...

Сочинял биографии кандидатов в депутаты, размещавшиеся на предвыборных плакатах, а также писал для них тексты выступлений. Но бывало и более интересное. Помню, например, я узнал о том, что комсомольцы одного из цехов собрались в экскурсию для обмена опытом на 2-й часовой завод, и увязался за ними. Узнал много нового для себя, да и ребята с увлечением познакомились с технологией, организацией труда и отдыха, жизнью коллектива. Я подготовил передачу на целый час (обеденный перерыв), привлек

нескольких участников экскурсии, чтобы они поделились впечатлениями. Передачу повторяли для всех трех смен, я получил хорошие отзывы. Но главное, что запомнилось: на одном из семинаров в Доме партпросвещения, где собирались редакции радиовещания всего города, мою передачу целиком повторили в качестве наглядного примера журналистской удачи. Потом еще пару раз я удостаивался такой чести, пока работал на заводе. Это дало мне некоторую известность в сообществе заводских радиожурналистов.

А через некоторое время редактор «Заводской правды» Федор Федорович Скуднов пригласил меня занять освободившийся пост ответственного секретаря этой газеты, что означало тогда серьезный карьерный рост. Да и зарплата увеличилась раза в полтора, что для меня было немаловажно. В это время на заводе разворачивались важные события – поскольку война кончилась, начиналась конверсия производства. Она шла в разных направлениях. Прежде всего, с конвейера были сняты легендарные штурмовики «Иль». Вначале их заменили пассажирские «Ли-2», скопированные с американских «Дугласов». По нынешним понятиям это были совсем небольшие самолеты, что-то от 15 до 20 пассажирских мест. Но тогда, после двухместных «Илов», они казались гигантами. Много менялось, особенно в сборочных цехах. Вместо конвейеров монтировались стапеля. Как в судостроении. На территории завода, недалеко от «монолита», был построен мебельный цех, сборка самолетных кресел была там поставлена на конвейер. Я писал об этом. Впрочем, вскоре было решено заменить «Ли-2» более совершенным и более крупным пассажирским самолетом, «ИЛ-14». Наверное, у него были другие особенности, но мне казалось, что главной особенностью и главной проблемой с ним было переднее шасси, подобное тому, какое я видел некогда на американской «Кобре». Весь завод только и говорил об этом: слово «шимми» (устройство, которое заставляло переднее шасси держаться прямо, не вы-

ворачиваясь, при посадке самолета на полосу) было у всех на устах. Рассказывали, что проблему «шимми» решает академик Келдыш (тогда я впервые услышал это имя). В Москве существовал специализированный завод по производству самолетных шасси – его целиком размонтировали и перенесли оборудование к нам, в цех шасси. Помню, тогда я с удивлением осознал, насколько же велик по размеру был наш завод, если в одном его цехе удалось разместить целое предприятие, и это не было даже особенно заметно!

Характерно, что все это никак не отражалось на страницах «Заводской правды», там вообще нельзя было упоминать о самолетах. Завод был режимным, и в газете сохранялась та же смешная конспирация, которую, помнится, я однажды упомянул, рассказывая о «кодировании» переговоров на фронте. Никаких самолетов – есть «изделия» (на заводе, как анекдот, рассказывали, что во время войны один партработник на митинге поздравил коллектив такими словами: «я уполномочен вручить вам переходящее Красное знамя за то, что завод сверх плана дал фронту три эскадрильи... изделий!»). Никаких шасси, крыльев, фюзеляжей – есть только «агрегаты». Никаких лонжеронов или там кронштейнов – только «детали»! И, наконец, никаких корпусов, цехов, участков, технологических и конструкторских бюро, тем более летно-испытательной станции – все это «участки». В газете писали: на участке, которым руководит такой-то, произошло такое-то событие. Это мог быть цех, где работало две тысячи человек, а могла быть бригада из пяти рабочих...

За соблюдением конспирации строго следили. Нас, работников газет режимных предприятий, собирали в горкоме партии, и там специалисты из КГБ строго выговаривали за нарушения. И порой они действительно умудрялись так анализировать тексты газет, что из них вылавливали многое, считавшееся строго секретным. Меня это удивляло. Но и забавляло также: чего стоила вся эта секретность, если я в за-

водской технической библиотеке видел американский справочник (правда, довоенный) под названием «Авиационная промышленность мира». В нем было подробное описание нашего завода – состав и размещение цехов, перечень уникального прессового оборудования и много другого, о чем нам не положено было даже знать. И еще деталь, впечатление со времен войны. Дело в том, что хвосты у самолетов «Ил-2» были деревянные (кабина была бронированной, это – да, почему штурмовики и назывались «летающими танками»; но хвосты были из фанеры). Их делали на каком-то деревообрабатывающем заводе и для сборки привозили на платформах грузового трамвая, через всю Москву. Я много раз, выходя с аэродрома на Ленинградское шоссе, видел такие трамваи; хвосты были чуть замаскированы набросанным на них брезентом, но как я тогда – наверное, справедливо – думал, любая стрелочница могла подсчитать, сколько самолетов производит тридцатый завод в день, неделю, месяц. А ведь это была самая страшная военная тайна!

Другим направлением конверсии была организация производства различных изделий народного потребления на мощностях, освободившихся от серийного производства боевых самолетов. Прежде всего, упомяну пресловутые кастрюли, которые штамповали на знаменитых мощнейших гидравлических пресах. Почему пресловутые? В девяностые годы, когда начиналась конверсия советской промышленности, главным доводом ее противников, так называемых красных директоров, было: «Что же это, мы кастрюли штамповать будем?». В том смысле, что это будет расточительное использование уникального, стоящего миллионы долларов, оборудования...

А я вспоминал, как в послевоенном году эти кастрюли расхватывались в магазинах на «ура», и как писал для «Заводской правды» очерк об инженеретехнологе, кажется, по фамилии Хаит или Хаэт, придумавшем какой-то хитроумный способ штамповки –

там дело было в том, что алюминиевые листы, некогда прибывшие к нам по лендлизу из Америки (ими был забит один из заводских складов, на котором я тоже побывал), не подходили по своим свойствам для этой операции.

Затем в одном из цехов был смонтирован конвейер, на котором собирались сконструированные по завезенному из Швейцарии образцу кровати-раскладушки. Это нехитрое изделие из алюминиевых труб (тоже полученных по лендлизу), стальных пружин и полотнища крепкой ткани завоевало огромную популярность в народе. Завод в короткий срок завалил раскладушками все хозяйственные магазины, чем внес, я убежден, важный вклад в послевоенное восстановление страны.

И еще. В самолетостроении самая массовая операция – клепка. Я успел побывать в цехе, где стоял неумолчный, невыносимый для слуха треск десятков клепальных пневматических молотков. Это было, как если бы в одном месте собрали сотню пулеметов и разом нажали гашетки... Потом сборка самолетов прекратилась, и все стихло. А еще через какое-то время пневмомолоткам снова нашли работу: было налажено производство детских санок. Из алюминиевых уголков (тоже запасы военного времени!) клепались полозья, корпус; к ним прикреплялись разноцветные деревянные палочки для сиденья – и на радость ребятишкам, в магазинах появились штабеля легких, удобных салазков.

Конечно, все это было примитивно, просто дико для такого завода. Но где-то в 1946 или 1947 году в ЦЗА, Центральной заводской лаборатории, появились трофейные электрические холодильники. У меня был приятель в ЦЗА – инженер, имевший на своем счету чуть ли не больше всех на заводе Свидетельств об изобретениях (теперь они называются патентами, а тогда именно Свидетельствами, и различие это не терминологическое, а сущностное: патент дает изобретателю совсем другие, более широкие права). По-

этому я, как говорится, и вышел на него. Он постоянно держал меня в курсе дела: конструкторы быстро скопировали холодильник, но загвоздка была в материалах – в применяемых металлах, охлаждающих реагентах и в чем-то еще. Весь коллектив лаборатории был вовлечен в исследования, эксперименты, привлекались и специалисты из института авиационных материалов. Параллельно велась, как тогда говорили, «разблюдовка» деталей по механическим цехам, разработка технологии сборки узлов, монтаж сборочного конвейера в одном из цехов, обучение кадров. В общем, к концу моего пребывания на заводе, массовое производство холодильников, которых население СССР до войны даже не видело, началось. Уж не знаю, почему оно продолжалось относительно недолго, несколько лет, а потом в магазинах появились (иные по принципу действия) холодильники «ЗИЛ» и Саратовского завода. Может быть, наши оказались менее удачными, а может быть, просто заводу, перешедшему на производство самолетов Ил-14, такая «мелочевка» не была нужна.

Тут, вспоминается, возникли и иные обстоятельства, о которых на заводе, если и говорили, то только шепотом, да и то, только с доверенными людьми. Был снят с должности главный инженер завода по фамилии Гуревич (или Шапиро? – память подводит...), изгнаны десятки специалистов с еврейскими фамилиями. Как я понимаю, даже авторитета Павла Андреевича Воронина, легендарного директора и одновременно заместителя министра авиационной промышленности, не хватило для того, чтобы пресечь разгром кадров, изгнание – отмечу – в том числе и людей, которые во многом способствовали нашей Победе. Тут действовали более мощные силы. Тот же Хаэт (или Хаит?) рассказал мне, когда однажды мы повстречались с ним на улице, что он и группа его друзей, технологов экстракласса, слава Богу, устроились на работу. Но в какую-то промысловую артель, где этот класс был совершенно не нужен...

К «еврейскому вопросу» мы вынуждены будем вернуться, а пока обратимся к более приятным событиям моей жизни.

Однажды меня пригласили в Дом культуры. Там в фойе были развешаны костюмы, пальто, другая одежда. Это были подарки благотворительной организации из Соединенных Штатов советским ветеранам Второй мировой войны. (Между прочим, уже после фултонской речи Черчилля, когда, как утверждают историки, холодная война была в разгаре!...). Мне достался красивый серый, мягкий костюм – не чета моему «шевиоту». Он мне очень пригодился, и прежде всего... в день свадьбы!

Да. Наташа к этому времени закончила институт. Поступила в аспирантуру и осталась преподавателем на своей кафедре. Научным руководителем у нее была Клавдия Александровна Ганшина, крупный ученый, автор известного французско-русского словаря. Она жила недалеко от дома-музея Васнецовых, на Самотеке. Я не раз сопровождал Наташу, когда она ходила на консультации, познакомился с Клавдией Александровной и ее сестрами. Помогал Наташе с диссертацией – например, конспектировал некоторые англоязычные и немецкоязычные работы. Был в курсе всех ее волнений: Клавдия Александровна хотела направить ее исследования на историю языка, а Наташа стремилась к чему-то более реальному, современному. В конечном счете, она сама нашла себе тему – суффиксальное словообразование абстрактных имен существительных и с увлечением ею занялась. Но, увы, без научного руководства – Клавдия Александровна к тому времени скончалась.

Поскольку я с головой ушел в журналистику, и стало очевидно, что это дело у меня получается, Наташа стала убеждать меня бросить Институт связи и начать учиться чему-нибудь более подходящему, гуманитарному – это, считала она, еще больше сблизит нас, объединит общими интересами. И убедила! Я не стал сдавать последнюю сессию второго курса, по-

дал заявление в Московский заочный полиграфический институт. С 1 сентября 1946 года, опять-таки без экзаменов, я был принят на редакционно-издательский факультет. Он фактически для москвичей был не заочным, а вечерним: три, а иногда и четыре дня в неделю я после работы должен был ехать на лекции. Кроме того, студентов загружали всякими контрольными работами и заданиями. Было, что скрывать, тяжело. Иногда так уставал после работы, что на конспектах лекций появлялись непонятные загогулины – это я засыпал...

Особенно нас мучили диктантами. Студенты четко делились на две группы. Одна – вчерашние школьники, другая люди постарше, в основном, бывшие фронтовики. Когда профессор Константин Иакинфович Былинский закатывал нам диктант, то первые еще куда ни шло, делали относительно немного ошибок, а со вторыми была просто катастрофа! Меня всегда считали, в том числе и в редакции, грамотным человеком. Так вот, на первом диктанте я сделал – как сейчас помню – 41 ошибку! И это был один из лучших результатов.

Впрочем, я отвлекся. Все это было несколько позже. А Новый 1946 год мы с Наташей встречали у ее институтской подружки Галки Шварцер. Под утро шли пешком домой. И, по-моему, именно тогда я понял, что давняя моя симпатия к Наташе (а мы были очень дружны с ней, я действительно чувствовал в ней родную душу, человека с теми же или сходными взглядами, устремлениями, планами на будущее) – эта симпатия означает нечто большее. Мы стали встречаться еще чаще, в будни вечерами гуляли по московским переулкам, в выходные – ездили в парк, особенно любили Измайлово. Я заходил к ней в гости, и меня очень радушно принимала Наташина мама, Наталия Петровна, знавшая меня еще мальчиком (одно время, по-моему, в седьмом классе, она помогала мне с английским). Моя мама, Софья Захаровна, тоже относилась к Наташе, как к своему человеку.

Когда же Наташа объявила Наталии Петровне о том, что мы собираемся жениться, все вдруг, в одночасье, изменилось. Я был вызван «для серьезного разговора». И тут Наталия Петровна и несколько ее близких друзей, сначала благожелательным тоном, потом все более решительно, объяснили мне, что я для Наташи не пара, что брак со мной загубит ее блестящую будущую карьеру, наконец, заговорили о том, что в сложившейся обстановке мне, еврею, трудно будет пробиться в жизни... Не помню, что я отвечал, и отвечал ли что-либо, но Наташе, которая не присутствовала при разговоре, было запрещено впредь со мной встречаться!

Но через несколько дней случилось нечто незабываемое. Я сидел у стола в своей комнате, задумался, и вдруг увидел прямо перед собой Наташу, услышал ее голос... Вероятно, это была галлюцинация, очень объемная и яркая. Как только она пропала, я пошел в коридор к телефону и позвонил Наташе. Сказал, что мне, во что бы то ни стало, надо ее увидеть. Мы встретились, я рассказал ей о случившемся... Словом, мы решили несмотря ни на что, осуществить задуманное. Наташе, которая вообще никогда не врала, ни в большом, ни в малом, пришлось пойти на обман. Уходя из дома, она говорила матери, что идет к Леве Гутману, а шла ко мне. И мы понемногу готовились к свадьбе, копили деньги, кое-что покупали. Так продолжалось не очень долго, потом Наташа осмелела и рассказала Наталии Петровне все. Летом мы поехали в Завидово, к Кате. Провели там чудесный, может быть самый счастливый в жизни месяц. Гуляли по лесам и полям, ходили на Московское море купаться. Целовались... Да что говорить!

27 июля 1947 года мы поднялись на четвертый этаж не существующего сегодня дома на Петровке (там находился Загс нашего района), заплатили 16 рублей и расписались в большой «амбарной» книге. Наташа была в платье с розовыми цветочками, которое сама по этому случаю сшила, а я в своем сером

американском костюме, на одном из брючных обшлагов которого, увы, зияла рыжая подпалина: в волнении, я утром сжег свои замечательные брюки раскаленным утюгом... Потом сели в троллейбус и поехали, как было заранее определено, в Останкинский парк. С нами в сумке был батон белого хлеба и триста граммов ветчины, купленные в коммерческом магазине, а вот что было из жидкого, я начисто забыл. Но что-то, наверное, было, может быть, бутылка распротраненного тогда ситро. Погуляли, с аппетитом перекусили. К вечеру приехали ко мне домой, где мама приготовила стол для свадебного торжества. В нем участвовали четверо: мама, соседка Наталия Николаевна и мы с Наташей. Я преподнес молодой жене свадебный подарок: купленную в Елисейском магазине трофейную немецкую чашку с блюдцем явно не от того же комплекта, но по цвету подходящим. Эта чашка до сих пор стоит у нас на видном месте, мы бережем ее как святыню, как талисман.

Потом мама ушла ночевать, по-моему, к жившей неподалеку сестре, тете Зельме. А мы легли на застеленный матрац, обнялись, да так и остались, как я всегда говорю, в этом положении, в обнимку, на всю жизнь. Правда, время от времени приходилось разжимать объятия, но поневоле, лишь чтобы поесть, может быть, погулять, пойти на работу, или заняться какими-то другими пустяками.

Понимаю, конечно, что это только красивая байка, жизнь подставила исключение буквально на следующий день. Традиционный медовый месяц мы провели... в сотнях километров друг от друга: Наташе выпала путевка в институтский Дом отдыха «Умиление» в Вологодской области, а мне – путевка в Санаторий для инвалидов отечественной войны «Икорец» возле станции Лиски в Воронежской области. Она на север от столицы, я – на юг. Успели, правда, обменяться несколькими письмами... Возвращаясь, испытал многое, для того времени характерное. Мне пришлось до Воронежа ехать на крыше вагона, а дальше,

хотя и в плацкартном вагоне, но на третьей, багажной полке – других мест не было, несмотря на имевшийся у меня билет.

А потом тетя Женя, старшая сестра моей мамы, нашла нам комнату около Елоховской площади, на Нижнекрасносельской улице. Собственно, не комнату, а комнатку площадью пять квадратных метров; вход, как говорится, «сквозь хозяйку»; удобства, хотя и не на дворе, но этажом ниже. Дом был деревянный, двухэтажный, похожий на Воронью Слободку из Ильфа и Петрова. Сейчас не сохранился. Единственным преимуществом, гарантировавшим безбедную зиму, была голландская печь, топка которой выходила в комнатку.

Переезжали мы не на машине, потому что денег на нее не было, а донесли свои пожитки до Лубянки, погрузились на заднюю площадку трамвая и на нем добрались до места. Пожитки состояли из разобранного наташиного письменного столика, когда-то сделанного на заказ; в его тумбах, как в чемоданах, были несколько книг, белье и еще что-то из самого необходимого (потом я в несколько приемов довез остальное). Переезжали под гром салюта: в тот день Москва праздновала свое 800-летие. Я счел это хорошим признаком, говорил Наташе: ура, салют в нашу честь!

Кровать и один стул нам дала хозяйка, ее звали Пелагея Дмитриевна. Так и устроились. Еще я добыл на заводе машину дров, мы вдвоем напилели их (у Наташи был опыт работы на лесозаготовках, что пригодилось), я наколот и сложил во дворе в штабель между двумя деревьями. Всю зиму мы топили печку этими дровами. Надо отметить: никто из соседей на них не покусился. Сейчас в это трудно поверить, но это факт.

Зима в доме у Елоховской была счастливым временем нашей жизни (впрочем, забегая далеко вперед, скажу, что те же слова можно было бы применить ко многим другим периодам, вплоть до старости. Мы

прожили действительно счастливую жизнь, несмотря ни на какие ее зигзаги, неудачи, проблемы... Если доживу до завершения этих воспоминаний, таким и подведу итог в Эпilogue, уверен). Наташа занималась диссертацией, ездила на занятия. Я часто после работы заезжал за ней в библиотеку или в институт, и мы возвращались вместе.

Между нами было одно очень существенное различие, сказывавшееся на нашем образе жизни: Наташа «сова», а я – «жаворонок». Хотя и бывали по этому поводу конфликты, но, в общем, различие было на пользу: я вставал в шесть часов утра и садился за стол готовить институтские задания. За моей спиной, буквально в полуметре, сладко спала Наташа... Это было чудесно! Потом мы собирались на работу, а вечером, встретившись, ужинали, читали, без конца обсуждали прочитанное, гуляли по улицам Москвы...

Жили мы очень скромно: помимо всего прочего, надо было платить за комнату, и еще мы решили давать по сто рублей в месяц нашим мамам. Но управлялись. У нас обоих были «рабочие» карточки, по тем временам большое преимущество. Сейчас вспомнил: уже тогда проявилась моя знаменитая (в кругу семьи, конечно) рассеянность: однажды на станции метро «Бауманская», вместо билета, я предъявил контролеру хлебную карточку. Когда объявили о денежной реформе и отмене карточек, мы побежали в магазин, чтобы истратить последние денежки, но увидели на полках только банки хрена или горчицы – и это все! А на следующий день все цены в магазинах выросли в несколько раз, их приравнивали к ценам коммерческих магазинов, а не общедоступных, где «отоваривались» карточки. Кстати, это обстоятельство всегда «забывают» сталинисты, настойчиво напоминающие, что «при Сталине цены снижались»... Да, снижались, но с какого уровня!

К весне Наталия Петровна не выдержала: позвала нас обратно, домой. Мы не соглашались, она уговаривала... Когда мы, наконец, решились на это, Ната-

ша навзрыд проплакала всю ночь – так ей не хотелось покидать наше уютное гнездышко.

На самом деле, теща Наталия Петровна была человеком незаурядным и во многих отношениях замечательным. Она многим в жизни помогала. Маленькая деталь: в служебной анкете, заполненной в 1937 г., в графе «социальное происхождение» написала – дворянка, на что тогда осмеливался далеко не каждый (теперь копия этой анкеты – одна из реликвий семейного архива). При этом она прожила большую жизнь (родилась в 1900 году, скончалась в 1988). Фамилия Довгалеvская у нее была по второму мужу, крупному деятелю коммунистической партии, члену совнаркома (правительства) при Ленине, потом – послу СССР в Швеции, Японии, Франции. Валериан Савельевич, как отметил однажды Илья Эренбург, *во время* умер. Действительно, он скончался от рака в 1934 году, в Париже, на посту посла СССР во Франции, и был похоронен на Красной площади, в Кремлевской стене. (А если бы дожил до тридцать седьмого? Ответ очевиден). По возвращении, Наталия Петровна поступила очень мудро: сразу порвала все свои связи и знакомства в высших кругах, и уединилась в самой скромной из предложенных ей квартир, чем безусловно, спасла себя и Наташу от сталинского террора. Будучи пенсионеркой союзного значения, она, в сущности, молодая женщина, занялась переводческой работой. Переводила Альфонса Доде и Андре Жида с французского, Мартина Андерсена Нексе с датского и Эвенсму с норвежского, ей принадлежат многочисленные переводы также с английского и немецкого языков (к последним я еще скоро вернусь, поскольку имел к ним некоторое отношение). Во время войны она работала в иностранной редакции ТАСС, ездила в эвакуацию в Куйбышев, после войны снова перешла на вольные хлеба переводчика художественной литературы...

Наталия Петровна фактически вырастила всех наших трех детей – Сережу, Лену и Митю; за ней в

семье так навсегда и закрепилось имя – Бабушка. (Лично я называл ее мамой, мы очень быстро перешли на «ты» и относились друг к другу с редкой для зятя и тещи теплотой). Она долгое время была фактически главой нашего семейного клана, без нее не принималось ни одно важное решение.

А конфликт в связи с замужеством Наташи? Он очень скоро был начисто забыт, нам никогда не было и повода напоминать о нем. Единственное, я сделал для себя общий жизненный вывод: далеко не всегда старшие бывают правы, а молодые – нет. И старался следовать ему в своих отношениях с детьми и внуками. Надо только постараться, чтобы они сами несли всю ответственность за свои решения и поступки.

Да, забыл еще один, может быть, менее существенный, но все же поучительный вывод: богатая свадьба совсем не гарантия счастливой жизни; в этом я, к сожалению, убедился на опыте всех трех своих детей...

В Свердловске

Летом 1948 года у Наташи кончился трехлетний аспирантский срок. Диссертацию она не завершила – ведь она параллельно работала «на полставки» преподавателем в своем же институте, он назывался тогда Московским городским педагогическим институтом имени Потемкина. Как было положено, состоялось распределение молодых специалистов. У Наталии Петровны был кто-то знакомый в Министерстве просвещения, кажется, заместитель министра. Но Наташа категорически отвергла предложение использовать это знакомство, или, как тогда говорили, «блат», чтобы от распределения освободиться. Больше того, она дала согласие на отъезд, зная, что беременна (но не сказав об этом никому, чтобы ее не обвинили в попытке таким способом отмотаться от распределения). Оставался лишь вопрос обо мне. В министер-

ской комиссии мне официально обещали устройство на работу в Свердловске, куда была направлена Наташа, и даже выдали письмо в местный горком партии (поскольку журналисты были его ведения). Я с сожалением уволился из «Заводской правды», где к тому времени, работая ответственным секретарем редакции, строил разные творческие планы. И мы, собрав кое-какие вещички, отправились в путь... Надолго ли? Официально распределение было на три года. Но известно, что многие молодые специалисты закреплялись на новом месте на всю жизнь. Что определила нам судьба, мы не знали.

Наташа получила назначение в Свердловский институт иностранных языков, который находился на улице Чапаева в типовом школьном здании. Нам выделили одну из двух комнат так называемой директорской квартиры, которая находилась на первом этаже с отдельным входом. (Вторую заняла еще одна молодая преподавательница по имени Лида). Правда, въехали туда не сразу, поскольку не был закончен ремонт; пришлось две или три недели пожить сначала в гостинице, а потом на съемной квартире, в проходной комнатухе, дверь в которую была завешена тканью.

Зато настоящим праздником был день, когда мы окончательно переселились в «свою» чисто выбеленную и почти пустую комнату: в ней были две железные койки, письменный стол и шкаф. Вот, кажется, и все. Мы купили два куска ткани на занавески, еще один – на покрывало для кровати. Потом приобрели еще кое-что по хозяйству (кастрюлю, электроплитку и т.д.).

Наташа сразу с головой ушла в работу. Она была назначена старшим преподавателем факультета французского языка. Слышимость в здании была отличная, и я, сидя в комнате, мог слушать, как выше этажом студенты хором повторяют за ней французские слова. Не обошлось на первом этапе без недоразумения. У Наташи с детства чистейшее традицион-

ное парижское произношение: вскоре после того, как Валерьян Савельевич был назначен послом во Францию, и они переехали в Париж, Наталия Петровна поместила дочь на пансион в простую французскую семью в пригороде столицы, называвшемся Шенневьер. В этой семье, которая стала для нее родной, она прожила с пяти до двенадцати лет, училась там в школе. Заведующая кафедрой, которая, как все советские люди, живую французскую речь никогда не слушала, усомнилась, правильно ли молодая преподавательница произносит некоторые звуки? С большим трудом Наташе удалось, кажется, ее переубедить...

А вот у меня сначала с работой не заладилось. В обкоме партии мне ничем не помогли, сказали, что вакансий нет. И ни одной знакомой души в городе! Пришлось мне пойти в типографию газеты «Уральский рабочий», в цех, где печатались местные многотиражки. Там узнал, что нужен сотрудник в газете «Большевистские крылья» Уральского управления ГВФ и обрадовался: опять авиация, знакомое дело! Кто-то познакомил меня с редактором газеты по фамилии Тойбеншляк. Звали его Абрам Маркович, он был с Украины родом, тоже еврей, и потому сразу высказал сомнение, что меня утвердят. Но я позвонил в Москву, добился, чтобы оттуда объяснили горкому партии ситуацию (жена поехала по распределению, муж последовал за ней и т.д.) – и вскоре вышел на работу...

Управление ГВФ, а в нем и редакция, находилось в старом аэропорту Свердловска, до него можно было доехать на троллейбусе по Уктусскому шоссе. (Все основное авиасообщение Свердловска к тому времени уже было переведено на новый аэропорт «Кольцово»). Кроме управления, здесь был небольшой авиаремонтный завод и базировался местный авиаотряд, обслуживавший в основном начальство уральских областей. Я начал с того, что сходил на завод, побродил по цехам и удивил Тойбеншляка тем, что принес длинный список тем для заметок, интервью, про-

блемных статей, которыми можно было заполнить газету на полмесяца вперед (просто мне помогло трехлетнее знакомство с заводской жизнью, а большой завод или маленький – не так уж важно). По размеру газета была такая же, как моя «Заводская правда» (четыре полосы половинного размера), а вот периодичность я забыл – по-моему, еженедельная. В штате было четверо: редактор Тойбеншляк, молодая выпускница факультета журналистики Уральского университета Галя Кудрявцева, машинистка и я, новый литературный сотрудник. Галя впоследствии, я знаю, переехала в Москву. Она была допущена, как сказали бы сейчас, в «журналистский пул» при космическом ведомстве и много писала в газеты и журналы о космонавтах, полетах, вела репортажи с космодрома. Потом следы ее как-то затерялись. На днях я поискал в Интернете и нашел название книги: «Три подвига Владимира Комарова», автор Кудрявцева Галина Николаевна. Издательство: Политиздат, год издания: 1969. И это все. Тогда, в Свердловске, она только начинала свою журналистскую карьеру. Но мне нравилось, как она писала: у нее был легкий, образный язык. Запомнился даже такой случай: в одном очерке, описывая украинскую хату, она упомянула красных петушков на выбеленной печи, и я позавидовал: я так не умею, такие детали мне в голову не придут... Словом, я старался учиться и у нее – спасибо ей (не знаю, жива ли она?). Абрам Маркович был старше нас, более опытен как журналист. Это был человек очень доброжелательный, с юмором, работали мы дружно. К счастью или нет, но у меня сохранилась возможность перечитать материалы той поры. Дело в том, что я в качестве институтского отчета о производственной практике подготовил альбом своих вырезок с комментариями. И теперь, достав из дальнего ящика, перелистываю его. Признаюсь: читаю эти материалы со смешанным чувством. С одной стороны, что можно требовать от совсем молодого, неопытного журналиста? Теперь-то, на склоне лет, я вижу, каким

беспомощным был мой слог, как примитивны в большинстве случаев выбранные темы (я, помнится, очень гордился тем, что часто по собственной инициативе, сам, без подсказки редактора, находил эти темы...), как часто я употреблял типичные советские газетные штампы типа «как подобает коммунистам», «великое марксистское учение», «Подготовка к зиме – боевая задача» и тому подобное.

С другой стороны, нельзя отказать мне (того времени) в наблюдательности, остроте критического зрения. Тут явно помогла предшествующая «биография»: аэродромную жизнь, ее проблемы я знал довольно неплохо. Наверное, поэтому «по следам» моих критических материалов принимались реальные меры – и я этим гордился. Например, после большой корреспонденции из Казани, имевшей подзаголовок «Навести порядок в службе инженера тов. Евдокимова», этот самый Евдокимов был отстранен от занимаемой должности. Надо сказать, что статья была толковая, в ней фигурировали факты, которые, безусловно, мог понять и оценить только человек, разбирающийся в деле. Это же можно было бы сказать и о корреспонденции об «уроках одного летного дня» в Свердловском аэропорте «Кольцово». Вот интересный абзац:

«Случилось так, что как раз во время резкого уменьшения видимости на подходе к аэродрому находилось несколько самолетов. Согласно наставлению по производству полетов, диспетчеры должны были направить эти машины в зону ожидания, справившись о запасе горючего на каждом самолете. Это было сделано не сразу. Тт. Гражданкин и Синянский задались целью во что бы то ни стало «посадить» самолеты. При этом руководить посадкой стали одновременно, тов. Гражданкин со старта и диспетчер с командной вышки. Это только сбивало с толку пилотов и привело к тому, что, например, самолет командира корабля Шихманова пять раз заходил на посадку, а несколько других самолетов «мазали» по три ра-

за.»... В тот же день я застал неприятную историю в гараже: из-за небрежности шофера машины-бензоаправщика замерзла вода, попавшая в карбюратор. Пока машину отгаскивали с дороги, были задержаны несколько других, произошел сбой в заправке самолетов. Об этом я тоже написал. Корреспонденцию обсуждали в службах аэропорта, факты, как говорится в «Последушке», подтвердились, дело шофера передано в суд.

В той же Казани я присутствовал на профсоюзной конференции по проверке коллективного договора и выдал «разгромный» отчет под названием «За дымовой завесой докладов и цифр». В заметке «По следам наших выступлений» говорилось, что «Президиум теркома союза авиаработников предложил заново провести проверку колдоговора в аэропорту с привлечением широкого актива работников». Естественно, я гордился таким результатом.

С ужасом – иного слова не подберу – я читал концовку, в общем-то, неплохого очерка об одном шофере: «Есть разные таланты: к музыке, к поэзии, к живописи. Но самый большой талант – это талант к труду, к созидающему труду любого рода. Искрой вот такого таланта и одухотворяется труд водителя автомашины Гнилomedова. А это – одна из тех миллионов искр, из которых возгорается великое пламя всенародного творчества – строительства коммунизма». Или еще одна концовка – очерка о двух инженерах тюменского аэропорта: «Они работают рядом, в одном цехе – два комсомольца, два инженера – муж и жена. Именно о них нам хотелось рассказать сегодня, в день молодежного праздника, потому что с первых дней своей трудовой деятельности они прочно заняли свое место в рядах лучших представителей комсомольского племени. Племена сильных, умелых, знающих и любящих свое дело людей, орлиного племени, возвращенного большевистской партией».

Ужас не только в штампах, штампы это дело поверхностное, с накоплением опыта они явно вымы-

вались из моего языка, а в том, что я тогда так думал, так верил, я был искренним в своих газетных выступлениях. Просто я был типовым продуктом коммунистической пропаганды (и сам был, к слову, пропагандистом: в описываемое время руководил кружком по истории партии в старом Свердловском аэропорту).

Но нет, все же дело не только в пропаганде. Немалую роль сыграл и тот факт, что я, непоседа, очень много летал. У меня был особый служебный билет (забыл, как точно он назывался), который давал право летать на любом самолете Уральского управления ГВФ для сбора материалов в газету. И я по несколько раз побывал в Казани, Ижевске, Перми, Тюмени, Кургане, а также на подмосковном аэродроме Быково, откуда специальными рейсами доставлялось оборудование и срочные грузы для уральских предприятий. Командировки были короткие, один - два дня, но я старался обязательно выкроить сколько-то времени на поездку из аэропорта в город, чтобы познакомиться с ним, с его жизнью. А она, эта жизнь (точнее, изменения в этой жизни), радовала. После отмены карточек и денежной реформы почти во всех городах, где я бывал, очень быстро стали наполняться полки магазинов, налаживался транспорт, люди становились веселее, общительнее. После страшных лет войны, от которой прошло всего-то два с небольшим года, все это производило впечатление. Ну, как было не радоваться, если мы с Наташей приходили в известный в Свердловске Гастроном на улице Вайнера и видели – вы не поверите! – по меньшей мере полсотни сортов колбасы и полтора десятка сортов сосисок, толстых и тонких, свернутых калачиком, темных, светлых и так далее. Честно говоря, такое разнообразие мне вообще больше в жизни не встречалось... Говорили, что в то время на Свердловском мясокомбинате работал пленный немец-технолог по колбасному делу, вот от него и шло все это разнообразие.

В Казани в первый мой приезд зашел в магазин. Смотрю – крупы в продаже есть, но, говорят, нужны талоны из домоуправления. В следующие приезды талонов уже не требовали. В Тюмени я первый и, увы, последний раз в жизни видел на прилавке настоящие стерляди – покупай сколько хочешь! Конечно, я совсем по иному относился бы ко всему этому, если бы знал, что в деревнях в это же время люди пухли с голоду. Но я там не бывал, а газеты об этом ничего не сообщали. Кстати, даже об Ашхабадском землетрясении, унесшем жизни полутора ста тысяч людей, я не видел ни строчки! Если сегодняшний историк вздумает изучать этот период по газетам, он с уверенностью скажет: не было никакого землетрясения... Слухи о нем ходили – это да. Как и слухи о лагерях – их передавали друг другу по секрету. Увы, видимо, в силу своего официального положения корреспондента газеты, я в число заслуживающих доверия не входил. Как правило, за редкими исключениями, люди со мной говорили то, что говорить, как они знали, *полагалось*. Я всего этого тогда по наивности своей не понимал. И оставался в счастливом неведении о теневых сторонах жизни своей страны.

Однажды я летел в грузовом самолете из Москвы в Свердловск. Везли покрышки для уральского автозавода, банки с краской (которые на большой высоте стали вздуваться, громкие хлопки поначалу изрядно напугали экипаж), еще какие-то промышленные грузы. Я сидел на веревке, привязанной между креслами первого и второго пилотов, беседовал с ними, наслаждался видами, открывавшимися из окон пилотской кабины. Погода была ясная, земля с высоты казалась прекрасной, особенно когда под нами показалась Волга... Я, честное слово, испытывал род эйфории, неопишуемое чувство полета, и совершенно искренне описал его в заметке под названием «Навстречу солнцу». Конечно, в ней были и «патриотические» штампы, о которых я говорил, и не очень нужный пафос. Например: «Вот она, наша земля, наша Роди-

на... Для нее четыре друга, творя большое государственное дело, ведут свою машину вперед. Они знают, что труженики Урала ждут – не дождутся срочного груза. Он нужен заводу для выполнения производственного плана, частицы великой сталинской пятилетки». Или вот такое: «Не тройка, а стремительный, как молния, самолет – вот что являет сейчас образ нашей Родины, за которую в годы войны отважно сражались командир корабля Герой Советского Союза Кузнецов и бортрадист Рычков, Родины, для которой вся четверка крылатых советских людей трудится сейчас, в дни мира».

Ну что тут скажешь? Так писали в то время. Точнее, так *принято* было писать, и я, молодой журналист, увы, не был исключением. Лишь спустя много лет я сумел преодолеть в себе этот стиль письма и стиль мышления... А заметку эту я, признаюсь, тем не менее, перечитал с удовольствием, она убедила меня своей искренностью...

Конечно, Наташа расстраивалась из-за моих частых отлучек, но как я упоминал, командировки были очень короткими – кроме одной, когда меня послали в Ижевский аэропорт проводить подписку на очередной государственный заем, и там я задержался на три или четыре дня. Надо ли объяснять, что эта командировка была самой неприятной? Особенно запомнилось, как начальник аэропорта, уговаривая одного сотрудника подписаться на месячную зарплату, пригрозил, что аэропорт может и не помочь ему, как обычно, дровами на зиму. Резанули эти слова мой слух; видимо, потому и запомнил их на всю жизнь...

Один раз Наташа решительно запретила мне поездку, грозившую быть еще длительнее, тут дело чуть не дошло до ссоры. Мы с Тойбеншляком, отдыхая от трудов праведных, в свободное время сражались в шахматы. Потом я занял одно из первых мест в турнире Уральского управления и потому должен был поехать на первенство Аэрофлота в Киев. Но Наташа сказала: «или я, или шахматы!». Я вспомнил дедуш-

кину присказку «В семейном споре уступает умнейший», и отказался от поездки. А ведь на самом деле права, то есть умнее, была она! Это был один, исключительный случай. Вообще же мы в Свердловске были счастливы, наслаждались жизнью, жили душа в душу. И удивительное дело: мы не завели там ни одного друга или приятеля: нам хватало общения друг с другом. Гуляли по заснеженному Свердловску, часто ходили в драматический театр. Смешно: запомнились не пьесы, которые смотрел, а удивительное зрелище в антрактах: вся публика, одетая вполне прилично, была в валенках, до блеска натиравших паркет... Мы тоже были в валенках – а как же иначе: морозы стояли крепкие. Питались мы дома, готовили сами. Чаще всего делали блюдо, которому научила меня еще Катя, оно называлось «фальшивый заяц». Это была картошка с жареным луком и очень небольшим количеством тушеного мяса. Помню, мы купили тушку кролика, вывесили ее в авоське за окном на мороз, и потом, отрезая маленькие кусочки, чуть ли не месяц кормились этим «фальшивым зайцем». Кое-какие продукты покупали на рынке и в гастрономе на улице Вайнера.

Постепенно мы начали замечать, что у Наташи округляется талия. Беременность она переносила на удивление легко. Старались как можно больше ходить... И тут нам сказочно повезло: в газетах было опубликовано постановление правительства, как будто специально написанное для Наташи! Женщины – молодые специалисты, выехавшие на работу по распределению, в случае рождения ребенка получали право досрочно вернуться в семью. Наташа ушла в декретный отпуск, и мы поездом отправились в Москву. Любовались, помню, необыкновенными пейзажами: уральские горы, метровые снежные шапки на разлапистых ветвях высоченных елей... Уже из Москвы, после родов, Наташа послала заявление, и несмотря на некоторое сопротивление дирекции института, уволилась. Я же, пока что, вернулся в редак-

цию – первым же подвернувшемся самолетом Уральского управления ГВФ – с аэродрома Быково. Одному было скучно и трудно. Много занимался – писал контрольные работы для института. Помню – именно тогда законспектировал весь первый том «Капитала». Слетал в Пермь и (в третий или четвертый раз) в Казань. В Перми меня поразило обилие снега, какого я ни до, ни после не видел. Когда самолет приземлился, я не сразу нашел на фоне белоснежного простора одноэтажное здание тогдашнего аэропорта (теперь-то оно, конечно, иное!) Чтобы войти в него, надо было спуститься в выкопанную глубокую траншею. И когда попал в город – поразили вид улиц, даже некоторых из центральных: тротуары вычищены, а между ними снежный вал чуть ли не в человеческий рост – и по нему едут машины...

18 апреля мне позвонила Наталия Петровна и поздравила с рождением сына. В тот же день я с разрешения редактора вылетел в Москву. Ринулся с аэродрома (по-моему, это были Люберцы, а не Быково) на станцию, вскочил в подоспевшую электричку, и только когда двери закрылись, сообразил, что надо было купить билет...

Так и доехал единственный раз в жизни безбилетником.

Пока Наташа с младенцем (мы давно договорились, что если будет мальчик, то Сережа, по имени нашего друга Сергея Вегера) была в роддоме, мы с Наталией Петровной лихорадочно работали. Дело в том, что она завершала перевод романа датского писателя Мартина Андерсена Нексе «Потерянное поколение»⁴, который должна была сдать Издательство иностранной литературы не позднее 1 мая. Таков был договорный срок. Очевидно было, что никто в редак-

⁴ Если быть совсем точным – не весь роман, а первые двадцать глав, остальные десять переводила приятельница Наталии Петровны, замечательная женщина, известный в то время журналист Нина Ильинична Крымова. Как будет рассказано ниже, она выручила меня в трудный период моей жизни.

ции не притронется к рукописи за праздники (не помню, три или даже четыре дня), и я об этом говорил Наталии Петровне, но она была человеком немецкой пунктуальности и стояла на своем: сдать надо 31 апреля, не позднее!

Она стучала на машинке и день, и ночь. Перерывы на еду и на сон были минимальные. Моя роль была очень скромная, подсобная, ведь я датским языком не владел. Просто в трудных местах Наталия Петровна переводила мне смысл какого-то текста, и я подсказывал, если находил быстрее, чем она, нужные русские обороты, эпитеты и тому подобное. Это ускоряло дело. А для меня было полезно в том смысле, что я начинал понимать, что такое искусство перевода, особенно художественного перевода. Это пригодилось мне в жизни. Я много раз потом с благодарностью вспоминал эти бдения, эти уроки...

Уволившись из редакции «Большевицких крыльев», я тут же начал искать работу. Оказалось, что это далеко не так просто, как было в конце 45-го года, когда демобилизация армии еще не состоялась. Что-то незримо изменилось в городе... Разумеется, возвращаться на завод мне было ни к чему: там ответственным секретарем «Заводской правды» уже работал Павел Волин (настоящая фамилия его была Вельтман), мой приятель и однокашник в заочном полиграфическом институте. Забегая далеко вперед, должен сказать, что Павел со временем стал одним из ведущих публицистов «Литературной газеты» эпохи ее расцвета. Вернее сказать, эпохи расцвета ее экономического и социального раздела, или как тогда говорили – второй тетрадки. Это были 1970-е – 80-е годы. Незабываемое для нас время! Имена таких ярких журналистов, как Александр Смирнов-Черкезов, Павел Волин, Александр Левиков, Лора Великанова, Анатолий Рубинов, Виталий Моев знал тогда любой интеллигентный человек в стране. Они будоражили общество, выдвигая свежие, порой неожиданные, идеи и предложения, вскрывая проблемы экономики

того времени, о которых не догадывались иногда и профессиональные экономисты. Будучи в то время научным сотрудником академического института, я тоже довольно часто выступал в «Литературной газете», был даже награжден почетной тогда премией за лучший материал года и считался в редакции, вернее, в отделе, своим человеком. С Павлом Волиным мы дружили всю жизнь. Работали вместе в газете «Деловой мир». Когда он эмигрировал в Израиль, переписывались по электронной почте. Переписка прервалась лишь в мае 2010 года – Паша скончался.

Вернувшись в Москву с каким-то накопленным опытом, как мне казалось, я уже перерос уровень многотиражки. Излишней скромностью я не отличался, поэтому сразу предложил свои услуги газете «Известия». Заявился в отдел кадров, назвал свою фамилию. Но взглянув на меня и не успев как следует расспросить, кадровик вежливо сказал: «Вы, наверное, знаете, что у нас недавно прошла реорганизация. Так что ничем вам помочь не могу». Через несколько дней я узнал, что из редакции «Известий» были уволены почти все журналисты, носившие еврейские фамилии и писавшие под русскими псевдонимами.

Позвонил в редакцию выходившей тогда авиационной газеты «Сталинский сокол». По телефону состоялся интересный разговор. Я сказал, что давно связан с авиацией – по армейской службе, авиазаводу, последний год проработал в газете уральского управления ГВФ. «Ой, воскликнул женский голос на другом конце провода, как раз такие люди нам очень нужны. Приходите завтра же!». Наутро, в редакции, кадровик попросил показать паспорт. И с наигранным сожалением сказал, что только вчера взяли на вакантную должность другого человека.

Пришлось мне спуститься с небес на землю. Пошел в так называемый Кабинет печати Московского горкома партии, ведавший многотиражными газетами. Меня там знали. Разговор состоялся долгий и задушевный. На всю жизнь запомнился только один

отрывок диалога.

- А жена у вас, русская?
- Да, русская.
- И ее мать, ваша теща, русская?
- Да, русская.
- А сын как записан?
- Русским.
- Вот ведь как растворились!

Короче, мне дали понять, что никакая работа в многотиражных газетах Москвы мне не светит.

– Сейчас организуются, правда, редакции радиовещания и газеты в некоторых совхозах Московской области. Подумайте! – посоветовал завкабинетом печати.

Много позднее я узнал, что некоторые столичные журналисты – евреи по национальности, ставшие, можно сказать, светилами отечественной журналистики, именно так начинали свою карьеру. Но я не захотел расставаться с Наташей и сыном, с институтом...

Решил зайти с другого конца. Съездил на Центральный аэродром и получил там справку о том, что был начальником телефонной станции, имею опыт работы с коммутатором такого-то типа. И начал методично обзванивать учреждения и предприятия все с тем же вопросом. И, увы, с тем же результатом! Особенно запомнился разговор в издательстве «Молодая гвардия», где я спрашивал о работе на коммутаторе, а на самом деле, про себя, размечтался: если устроюсь, через некоторое время, наверное, сумею перейти в редакцию – я же учился на редакционно-издательском факультете! Но и там, едва взглянув на меня, кадровик попросил паспорт, перелистал его и сказал, вздохнув, что вакансия была, но уже занята.

Между прочим, тут есть загадка, которая не давала мне покоя много лет. Только сейчас, когда я писал эту главу, мне, кажется, удалось ее решить.

В начале 90-х, по-моему, в 1993 году, возвращаясь с работы, я проходил мимо музея Ленина на площади Революции. А там в ту пору традиционно соби-

рался народ митинговать, обсуждать ситуацию (нечто в роде Гайд-парка в Лондоне). Ораторы собирали вокруг себя группы заинтересованных слушателей и высказывали самые разные мнения, особенно обрушиваясь на «гайдаровские» реформы, восхваляя советскую власть, дорогого и любимого товарища Сталина. Я пристроился к одной из таких групп и подошел поближе к оратору, чтобы лучше слышать. Оратор громко и убежденно говорил о засилье евреев, оккупировавших страну, и, в общем, нес стандартную антисемитскую околесицу.⁵ Высказывая то или иное утверждение, он то и дело обращался ко мне, стоявшему рядом, как бы ища поддержки: Правильно я говорю?

Очевидно, что сам он никогда не видел живого еврея, не знал, какой у еврея профиль, или, если пользоваться пресловутым гитлеровским критерием – какова у него форма черепа. Для него еврей было нечто абстрактное, просто он знал: «Бей жидов, спасай Россию!» истина в последней инстанции, руководство к действию, не подлежащее обсуждению.

Что же случилось за прошедшие годы? Почему, как я упоминал, любой кадровик в 1949 году, что называется, с первого предъявления определял, что моя русская фамилия не соответствует моей еврейской физиономии и искал в этом какой-то подвох? Почему теперь все не так? Да. Только теперь я, кажется, понял, в чем тут дело.

Работники отделов кадров в те времена, как известно, поголовно были выходцами из соответствующих органов. Недаром в нашу шумевшей пьесе «Опаснее врага» начальник такого отдела, в ответ на стук в дверь, машинально отвечал: «Введите!».

⁵ Не могу удержаться от своего рода самоцитирования: повторю сноску из Заключения к моей книге «Перевал» (2006 г) о том, « как *презирают* русский народ многочисленные «патриоты», вопящие об «оккупации» нашей страны ничтожной горсткой евреев, каждый из которых (сказочный богатырь, наверное!) для этого должен был бы скрутить руки по меньшей мере сотне россиян. Воистину, избави Бог великий русский народ от таких «защитников». А с врагами он и сам справится...»

Так вот, они прекрасно знали, каковы из себя евреи, потому что в силу исторических причин, вплоть до предвоенных лет последние занимали непропорционально высокую долю в начальствующем составе ЧК – ОГПУ – НКВД. Не удивительно: евреи принимали очень активное участие в Октябрьской революции, мечтая не только о социализме и коммунизме, как остальные, но и том, чтобы избавиться от преследований царизма – от черты оседлости, от черносотенных погромов, от дела Бейлиса и много чего другого. Как самые надежные и безжалостные революционеры, многие из них оказались в карательных органах. А в годы большого сталинского террора их доля резко снизилась. Например, при работе над книгой «О Сталине и сталинизме.14 диалогов» (2010 г.) мне довелось прочитать полный список начальствующего состава одного из таких ведомств – Главного управления лагерей, ГУЛАГа. За единичными исключениями, возле всех еврейских фамилий стояла отметка: «расстрелян в таком-то году». Лишь немногие умерли естественной смертью.

Последующие поколения чекистов, если не считать тех, которые непосредственно участвовали в сталинских антисемитских кампаниях (имею в виду процесс Еврейского антифашистского комитета, «борьбу с космополитизмом» и венец всего – «дело врачей») существенно реже соприкасались с евреями. Ведь люди этой национальности составляли всего лишь какую-то пару процентов населения страны (тем более, после Холокоста, свирепствовавшего на оккупированных фашистами территориях). Вот и превратились евреи в их глазах в нечто абстрактное, но, безусловно, отвратительное и враждебное. Как для того оратора возле музея Ленина.

Такова, по-моему, разгадка противоречия, которое меня давно удивляло...

Время моей безработицы растянулось на полтора года, до октября 1950-го. Самое трудное время в моей жизни и в моральном, и в материальном отноше-

нии. Гонорар тещи за перевод быстро кончился, новых заказов пока что не было ... Наташу, к счастью, сразу оформили в родной институт, старшим преподавателем, но, как полагается, с начала учебного года, значит, первые деньги она могла получить только в октябре. Я же, мало того, что зарплату не получал – лишился даже пенсии инвалида войны, поскольку не пошел на ежегодное (так тогда полагалось) переосвидетельствование: боялся, что спросят справку с места работы.

... Первой продали замечательную радиолу на десять пластинок, которая пережила на складе Центрального телеграфа войну, под звуки которой мы так любили с Наташей танцевать в ту пору, когда я за ней ухаживал! Потом отнесли к букинисту пачку книг издания «Академия». Рядом с нами, в помещении церкви на Столешниковом переулке, которая сейчас снова действует, располагался отдел комплектования Библиотеки иностранной литературы. Туда я, скрепя сердце, отнес редкую, сохранившуюся от Валериана Савельевича книжку: нелегальное антигитлеровское издание германской компартии. Ее, я помню, называли «Коричневая книга». Потом мы отнесли в какой-то спецхран несколько комплектов факсимильных изданий газеты «Правда» периода революции, стенограмм партийных съездов. Прежде они тоже принадлежали В.С. Довгалевскому, об их утрате я горько жалел все последующие годы, и жалею сейчас.

Когда писал, вспомнил еще один весьма оригинальный (по крайней мере, для столицы) способ пополнения средств к существованию, который нам довелось испытать. Дело в том, что наша квартира была на высоком первом этаже и в одной из комнат дверь выходила на большой балкон – вернее, крышу пристроенной к дому прачечной. Металлическая изгородь отделяла нашу часть балкона от той, на которую выходила соседняя квартира. Так вот, Наталия Петровна попросила знакомого плотника (которому не-

задолго до того очень помогла – приютила на время, пока тот, вернувшись из длительной командировки в Китай, искал жилье) построить на балконе ... курятник! Купила цыплят и начала разводить кур. Яйца и куриное мясо были неплохим подспорьем, думаю, года два. Но самое замечательное: по утрам с балкона раздавалось петушиное пенье – и где? Прямо через дорогу от Моссовета! Наталия Петровна опрашивала соседей, не мешают ли им утренние звуки? Что вы, отвечали, это так приятно, напоминает о природе, о деревне...

Деньги были очень нужны. У Наташи было плохо с кормлением Сережи. Моя мама пригласила знакомого детского врача, венгра по фамилии Партош. Он дал много полезных советов, но их исполнение обходилось недешево...

В свободное от поисков работы время я продолжал усердно заниматься в институте, регулярно посещал вечерние занятия. Однажды к нам пришел морской офицер и спросил: кто из молодых журналистов хотел бы попробовать свои силы в газете «Красный флот»? Это была, как мы все знали, всесоюзная ежедневная газета – о чем большем можно было мечтать? Я вызвался первым. На следующий день был в редакции, находившейся недалеко от Красных ворот, в Большом Козловском переулке. Меня зачислили в отдел культуры с месячным испытательным сроком. Начальником отдела, если я не перепутал фамилию (ведь прошло более полувека) был подполковник Григорьев, очень благожелательный, симпатичный и насколько я мог судить, образованный человек. Первое время моим основным занятием было написание ответов на письма, в изобилии поступавшие из всех флотов и флотилий военно-морских сил. Особенно много было стихов ко всяким знаменательным датам – стихов, в основном, довольно беспомощных. Мои ответы, обычно подробные и достаточно вежливые, подполковник одобрял. Потом он стал доверять более серьезные дела. Например – отредактировать рецен-

зию на премьеру какой-то пьесы из флотской жизни. Название спектакля я давно забыл, но историю, с ним связанную, запомнил на всю жизнь. Рецензию, если не восторженную, то положительную, принес один довольно известный в те годы театральный критик. Я прочитал, снял какие-то длинноты, излишние красоты слога. Григорьев посмотрел и сдал в набор. Но на беду, в театр на тот спектакль захотел пойти главный редактор газеты генерал-майор П. Мусьяков. На следующий день он вызвал Григорьева и сказал, что все плохо: и пьеса, и постановка, и герои... И вот произошла сцена, которая стоит у меня и сейчас перед глазами: уважаемый критик сел передо мной за мой письменный стол, взял в руки гранку и начал быстро вносить правку. Через 10 или 20 минут работа была закончена. Я посмотрел рецензию и увидел, что все оценки ней были перевернуты: скажем, в тексте было «убедительно сыграл роль артист...», теперь: «неубедительно сыграл роль артист...», «яркий монолог такой-то героини» заменил «невыразительный монолог», ну, и так далее. С тех пор я как то настороженно стал относиться к искусствоведению и искусствоведам, при всем уважении к некоторым из них. Тем более, что незадолго до этого (или может быть, чуть позже – за давностью лет забылось), в «Комсомольской правде» была опубликована громадная, на целую полосу, разгромная рецензия на некоторые военные комедии, в том числе фильм «Небесный тихоход». И меня резанула фраза критика: «Что же касается откровенно пошлых песенок, то они, конечно, будут забыты через полгода» (цитирую не дословно, по памяти, но за смысл ручаюсь). Вот эту фразу я вспоминаю каждый раз, когда слышу по радио или телевизору залихватскую «Первым делом, первым делом самолеты...», или сам напеваю: «Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай!»

В «Красном флоте» мне работалось очень хорошо. Я постоянно был в состоянии какой-то эйфории. Не

удивительно: сбывалась мечта попасть в большую всесоюзную ежедневную газету. Начальник отдела был явно мной доволен, говорил мне об этом. Но когда истек месяц, он вдруг сказал, что отдел кадров не хочет меня утверждать в должности, и ему с трудом удалось убедить главного отсрочить решение на полмесяца. А когда наступил и этот срок, он сказал, что нам придется расстаться, а в качестве утешения дал мне рекомендацию в пресс-бюро главного штаба Военно-морского флота, где, по его словам, был нужен сотрудник. Я сразу пошел туда, благо это было недалеко, почти в соседнем доме. Григорьев заказал пропуск, я поднялся по пугающе мрачному коридору, где через каждую сотню шагов неизвестно откуда возникал часовой и спрашивал этот пропуск, вошел в абсолютно пустую, если не считать единственного стола и стула, комнату, где мне выдали анкету в шестнадцать страниц и предложили заполнить. Я долго думать не стал, попросил сделать отметку в пропуске и ушел...

А дома я в первый и единственный раз в жизни разрыдался (слезы еле живого, обессиленного мальчика на Киевском вокзале – не в счет). Я сидел на диване и плакал, а Наташа, как могла, утешала. Если бы не она, не знаю, как я вышел бы из этой ситуации.

Как я упоминал, мне пришлось быть безработным полтора года. Будучи, по существу, уже взрослым мужчиной, в расцвете творческих сил, я, конечно, не расслаблялся: находил себе дело и пусть непостоянный, скромный, но заработок. Не говоря уже о том, что много времени брала учеба в институте. С заработком мне очень помогла Нина Ильинична Крымова, коллега Наталии Петровны по переводу. Она работала во Всесоюзном радиокомитете, в редакции, вещавшей на скандинавские страны. Я регулярно готовил по ее заданиям репортажи о жизни Москвы и Урала, брал интервью. Одно из них запомнилось. В Москву приехал латышский драматический театр.

Гастроли проходили, если мне память не изменяет, в здании МХАТа. Нина Ильинична договорилась, что я возьму интервью у молодой, подающей надежды актрисы, которую звали Вия Артмане. Мы встретились в помещении театра. Разговор был очень интересный и, как я теперь понимаю, откровенный. Потому что кроме чисто театральных дел (роли, спектакли и т.п.) мы касались и более широких тем. Именно от этой замечательной собеседницы я услышал о массовых высылках латышской интеллигенции, будораживших в то время общество этой республики (как и ее прибалтийских соседок), о чем я и понятия не имел. Ведь в газетах о подобных вещах не сообщали. Обо всем этом я вспоминал недавно, когда отмечался юбилей великой актрисы...

В один прекрасный день мне пришла в голову смелая мысль: почему бы мне не использовать свое владение немецким языком и не заняться, как Наталия Петровна, переводами? Но мы уже знали, что в Иноиздате к тому времени была проведена чистка состава переводчиков (они все были внештатные, работали по договорам – что естественно, но состав их строго контролировался). Знали, что из ЦК партии поступило строгое указание: от всех переводчиков-евреев освободиться, кроме, может быть, самых, самых талантливых. Там, в ЦК, понимали, что надо было как-то поддерживать качество художественного перевода, например, классиков зарубежной литературы. Короче, мы приняли решение: Наталия Петровна просит дать ей заказ на перевод какой-нибудь немецкой книги, поскольку в издательстве знали, что она – полиглот, а книг скандинавских пока не было. А переводить под ее именем должен был я; так в то время поступали многие. И действительно, очень скоро ей дали повесть известного публициста – антифашиста Максимилиана Шеера «Поездка на Рейн».

Я раскрыл первую страницу, положил на стол бумагу и ручку (тогда я еще не умел печатать на машинке) и – о ужас! Понимать-то я понимал, что напи-

сано, а вот выразить то же самое по-русски оказалось невероятно трудно. Да и понимал я текст очень приблизительно, так сказать, в общем, а какие-то детали, ненужные при чтении, но совершенно необходимые для перевода, от меня ускользали. Оказалось, что уметь болтать по-немецки на бытовом уровне и даже думать по-немецки (а для меня тогда это было привычно) – недостаточно для перевода художественного произведения, насыщенного всевозможными образными выражениями, эпитетами, идиомами, синонимами, диалектными словами и так далее, и тому подобное. Иной раз голову сломишь, пока не сделаешь выбор, например, между теми же синонимами: смысл у них один, а вот по какому критерию этот подходит, а тот нет – один Бог знает!

Язык – необъятное море. Последние годы, с легкой руки моего друга профессора В.М. Рутгайзера, я много занимался переводом на русский язык специальной английской и американской литературы по вопросам оценки бизнеса. Перевел почти два десятка книг, на основании этих переводов мы Валерием Максовичем даже составили и издали терминологический словарь-справочник «Оценка бизнеса» (2009 г.). Словом, в этом деле, переводе оценочной литературы, я, что называется, собаку съел. А владею ли я английским? Конечно, нет. Читать еще куда ни шло, а вот говорить – двух фраз сложить не могу...

Но я отвлекся. Постепенно, очень медленно, я вчитывался в текст, и под руководством Наталии Петровны, выступавшей, в сущности, в роли редактора, начал продвигаться вперед. Сейчас я перечитал повесть и увидел, что во многих местах, особенно в диалогах, перевод мог бы быть лучше, выразительнее. Теперь, с моим многолетним литературным опытом, я совсем по-иному оцениваю этот текст, чем прежде. Сюжет повести такой: во время войны некий эсэсовец расследует им же, по существу, придуманный разговор. Он едет для этого с восточного фронта в Кельн, хватает ни в чем не повинных людей, следуя

замечательному принципу: «Я исхожу из того, что каждый, чьим делом я занимаюсь, виновен, и считаю так до тех пор, пока мне не докажут обратного». Как тут не вспомнить известное выражение сталинских времен: «Если вы еще на свободе – это не доказательство вашей невинности, а наша недоработка»... К слову сказать, на титульном листе книги написано: «Сокращенный перевод с немецкого». И мы с Наталией Петровной, и наш редактор, симпатичная молодая женщина Наташа Ветошкина прекрасно знали, в чем тут дело. А дело было в том, что неглупый, видимо, цензор вымарал из повести большие куски текста (по возможности сохраняя сюжетную нить), которые могли вызвать у читателя нежелательные аналогии между описанием жизни и нравов в гитлеровской Германии и тем, что этот читатель видел у себя, в сталинском Советском Союзе.

Именно эту историю я вспоминал много лет спустя, когда в книге диалогов «О Сталине и сталинизме» писал: «Замалчивалось всегда и усердно замалчивается сталинистами сегодня – поразительное сходство двух режимов»... И далее я сформулировал не исчерпывающий⁶, но все же, полагаю, убедительный перечень. Он не может не заставить задуматься любого.

«Оно (сходство) проявлялось, прежде всего, в том, что провозглашенный Гитлером принцип *«Один вождь, одна партия, один народ»* (этот основополагающий принцип, как утверждают некоторые историки, был заимствован фюрером как раз у большевиков) Сталин в точности реализовал на практике. Хотя

⁶ Сегодня, задним числом, заметил одно важное упущение: в перечне сходств забыл указать антисемитизм, который я испытал на собственной шкуре в 1949-1950 годах (а также, забегая далеко вперед, - и в 1968 году, когда все журналисты-евреи, и я в том числе, были в один день изгнаны неким главным редактором А.Ф. Румянцевым из «Экономической газеты»)... Видимо, в десятые годы 21-го века меня этот вопрос уже как-то меньше волновал, вот я и забыл о нем. Напрасно! Самоцитирование вообще не одобряется, но в мемуарах, по-моему, оно бывает оправданно. Хотя бы потому, что, как в данном случае, позволяет исправить прежние ошибки.

сам он – человек достаточно хитрый – так откровенно его не формулировал. Да, в репрессивной политике между ними было различие: Сталин предпочитал расстрелы, Гитлер – газовую камеру. Гитлер обрушивал основной удар против внешних врагов, Сталин – против собственного народа. Но во всем остальном – в количестве жертв, исчислявшемся миллионами, в системе концлагерей, во всепроникающей и всеильной тайной полиции (Гестапо и КГБ), в тотальной пропаганде и агитации, в слежке и доносительстве, в воспитании детей и юношества (гитлерюгенд и комсомол), в военной индустриализации, и даже в тысячах бытовых деталей (типа прикармливания «нужных» писателей и деятелей культуры, создания порою совершенно аналогичных скульптур и помпезных зданий, повышенной заботы о шествиях и спортивных празднествах, даже символики: красного знамени, изображения рабочего с молотом на рубле и марке, и перечень этот можно продолжать до бесконечности) – во всем этом два режима были похожи, как близнецы... Даже до такой уж совсем мелочи, отмечаемой историками: в высшем руководстве гитлеровской партии, как и в высшем руководстве ВКП(б) значительную долю составляли люди малообразованные (начиная с недоучившегося реалиста и художника Гитлера и недоучившегося семинариста и поэта Сталина).

Потому что это были два диктаторских режима. И другого определения вы не найдете.»⁷

Книга «Поездка на Рейн» вышла в свет в апреле 1950 года. Потом мы взялись переводить не только с немецкого, но и с английского. В том же году вышли роман американского писателя Э. Джилберта «В белом колесе» и публицистическая книга Г. Мейера «Неизбежна ли гибель Америки?» (с предисловием известного международного В. Бережкова), в следую-

⁷ Лопатников Л.И. О Сталине и сталинизме. 14 диалогов». М., Возвращение. 2010. С.78-79.

щем году – повесть Г. Лангера «Человек нашел себя» (в сборнике рассказов и повестей современных немецких писателей «На переломе». В издательство, работать с редакторами, обычно ездил я, а не Наталия Петровна, и все это прекрасно знали. Важно было соблюсти формальность – нужный процент евреев в списках переводчиков – не больше... А меня в списке не было.

Отдельно надо сказать о книге председателя компартии США Фостера «Открытие Америки». Это совсем особая история. Там не указано имя переводчика Н.П. Довгалева (тем более «пом. переводчика», как я сам себя называл в домашнем кругу). Иноиздат тогда находился возле железной дороги, в нескольких автобусных остановках от метро «Щербаковская». Там, в отдельном двухэтажном здании, находился секретный объект, почему-то называвшийся «Международным управлением». Это была специальная редакция, занимавшаяся выпуском переводных книг, никогда не появлявшихся ни на полках магазинов, ни даже в научных библиотеках. Только для высшего партийного и государственного руководства. Порой, как мне говорили, переводы издавались в нескольких экземплярах, золотым тиснением на переплете указывались имена получателей. Правда, книга Фостера, хоть он и был руководителем братской компартии, носила, я бы сказал, чисто научный, а не политический характер. Наверное, поэтому она все же была через пару лет издана и для «неруководящих» читателей. Книга, надо сказать, интересная, я работал над ней с большим удовольствием.

Как легко понять, после всего пережитого и передуманного, я к концу 1950 года во многом изменился. Это был уже не тот московский мальчик, который, сидя на переднем борту полуторки, направлявшейся на фронт, подпрыгивая на ухабах, всю дорогу распевал вместе с семеркой таких же юношей и девушек патриотические песни. (Повестку из военкомата моя мама получила уже тогда, когда я лежал в госпитале!).

И не тот демобилизованный солдат, уверенный в будущем – своем и спасенной страны, который вел в цехе кружок по биографии великого Сталина. Я по-прежнему верил в социализм, с воодушевлением изучал «Капитал» и другие труды Маркса, а особенно – Ленина. Я восхищался его «Материализмом и эмпириокритицизмом», эта книга представлялась мне венцом философской мысли. Но червь сомнений начинал подтачивать эту веру. Один раз написал письмо в ЦК, где робко предложил несколько подправить перечень функций государства, выдвинутый в одном из выступлений Сталина. Ответа не получил, лишь по телефону какой-то инструктор отчитал меня за крамолу.

Видимо, мою политическую позицию того времени можно было бы коротко сформулировать так: «дело социализма и коммунизма, безусловно, правое, святое. Но это дело дискредитируется практикой его реализации (подразумевалось – Сталиным)». Обида за то, как Родина – нет, не Родина, а режим, властвующий в ней! – отплатила мне за лучшие порывы юности, скажу пафоснее – за пролитую кровь, не давала мне покоя...

Но жизнь шла своим чередом. Я упорно продолжал искать работу. И вот в октябре 1950 года, по рекомендации одной знакомой, которая была в свое время корректором «Заводской правды», я был принят на работу в 1-й Московский государственный педагогический институт иностранных языков - ответственным секретарем вновь организованной газеты – многотиражки под названием «Советский студент».

Впрочем, это уже другой этап моей жизни и другая история.

Экспозиция

Итак, завершился этап моей жизни, в центре которого, как и для каждого советского человека моего поколения, Великая война. Все остальное – это только «до» и «после»...

Мне кажется полезным завершить эту книгу короткой экспозицией следующих книг – вероятно, их будет две (разумеется, если судьба разрешит мне завершить начатое дело). Первая будет охватывать период с 1950 по 1968 год, который условно можно назвать «журналистским», а второй – с 1968 года (когда я стал кандидатом экономических наук) по настоящее время, который еще более условно, с огромной натяжкой я назову «научным». Почему потребовались такие странные оговорки, выяснится потом.

Работа в «Советском студенте» была интересной, скажу больше – увлекательной. У меня сохранились о ней самые лучшие воспоминания. Удивительно ли? Я сам был молод, вокруг меня была молодежь – это определяло все... С тех пор на долгие годы сохранилась возникшая тогда дружба с самым близкими нам с Наташей людьми: Гелием и Ириной Черновыми (Гелий, студент, в те годы был заместителем редактора нашей газеты, а потом стал известнейшим профессором, специалистом по синхронному переводу, автором англо-русских словарей, которые есть чуть ли не у каждого на книжной полке; он скончался в 2000 году). А также с Семой и Авой Тангянами, еще одной студенческой четой, с которыми мы с Наташей поддерживаем связь поныне – хотя и нерегулярную, так как они живут во Франции. Сема Тангян, профессор, много лет был, не более и не менее, заместителем Генерального директора ЮНЕСКО от Советского Союза. Занимался народным образованием в десятках развивающихся стран. Пенсионер ЮНЕСКО, он и остался жить в Париже, лишь время от времени приезжая в Москву.

Вокруг редакции «Советского студента» объединилось много начинающих, порою впервые бравшихся за перо репортеров, фельетонистов, поэтов, спортивных обозревателей. Это называлось «редакционный актив». О том, что их действительно было много, говорит такой факт: когда я окончил свой Заочный Полиграфический (это было в 1952г.), я тут же с разрешения дирекции Ин-яза объявил спецкурс «Редакционное дело» и ко мне записались 150 человек! Пришлось администрации выделить мне одну из самых больших аудиторий. Конечно, на активную и даже в чем-то веселую общественную жизнь студентов (а также – грех было бы их не вспомнить – группы профессоров и преподавателей, энтузиастов газеты), объединившихся вокруг нашей редакции, ложилась незримая тень обстановки, сложившейся в стране. Для научной жизни Ин-яза самым главным, естественно, была пропаганда «гениального труда» И. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Осуждались профессора и преподаватели, допускавшие малейшие несогласия, отклонения от его постулатов, хотя каждому мало-мальски образованному языковеду были видны упрощения и схематизм многих из них. Все это отражалось в газете. Впрочем, в целом Сталин был прав, лишив монополии в советской лингвистической науке так называемое учение академика Марра – марризм. (Прямо наваждение: в те времена в любой области обязательно появлялась своя монополия, свой «вождь»! Такова была логика сталинской системы государства, этого не следует забывать). Наташа всегда говорила: если бы не свержение с пьедестала Марра, с которым она была в принципе не согласна, то есть если бы не Сталин, она бы никогда не защитила свою диссертацию. Так противоречива жизнь!

Но самое яркое воспоминание того времени такое. Мы опубликовали стихи студента Павла Грушко (впоследствии известного поэта-переводчика). Легкие, с юмором стихи о том, как студент добился благосклон-

ности сокурсницы и ее родителей, и бабушки, которой «...он чинил «корогаз», и бабушка – улыбалась...»

Заканчивались стихи следующими двумя строчками:

«А он был вовсе не виноват,
И нам было просто завидно».

Когда газета вышла из типографии и я взглянул на страницу, то похолодел: первую из этих строчек легко можно было прочитать так: А он был **ВОВСИ НЕ ВИНОВАТ!**

Для тех, кто не помнит: профессор Вовси был одним из главных обвиняемых печально знаменитого «Дела врачей», которым Сталин замышлял дать новый сигнал к преследованию евреев. В таком виде перед нами не невинные студенческие стишки, а антигосударственный призыв, измена, 58-я статья уголовного кодекса!

Я ночи не спал, боялся, что кто-нибудь «там» захочет проявить революционную бдительность. И закрутится... Много лет спустя Павел рассказал мне, что и он испытал тогда подобные страхи. Обошлось. Сталин умер, начались тектонические сдвиги.

Изменения, хотя и далеко не те, о которых мечталось, вскоре сказались и на моей «линии жизни». Говоря канцелярским языком, я сделал неплохую, и – как теперь я вижу, довольно быструю профессиональную карьеру. От секретаря многотиражки (низшая ступень журналистской иерархии) я дорос к началу 60-х годов до должности заместителя редактора отдела еженедельника ЦК КПСС «Экономическая газета» – должности вполне номенклатурной, с кремлевской поликлиникой и знаменитой Загородной больницей (где, между прочим, лечились двое из моих детей), правительственными санаториями и прочими благами, о которых сегодня упорно «забывают» сталинисты, распускающие миф о том, будто Советский Союз был страной всеобщего равенства.

После многотиражки и недолгой работы в московском «Блокноте агитатора» (было такое издание) я

попал во вновь организованную московскую областную газету «Ленинское знамя». Это была замечательная журналистская школа для меня, там было, у кого учиться. Егор Яковлев, Евгений Богат, Залман Румер), – эти имена в те годы знало все журналистское сообщество. Годы в «Ленинском знамени», а потом в «Экономической газете» (куда сначала перешел Румер, а потом он «перетащил» и меня) заслуживают пространный рассказ. Потому что я тогда объездил и облетал в качестве специального корреспондента все Подмосковье и чуть ли не весь Союз: от Бреста до Якутска, от Баку до Норильска (к сожалению, только на Дальний Восток не успел долететь). «Экономическая газета» активно поддерживала и пропагандировала так называемые Косыгинские реформы – эту, в конечном счете, не удавшуюся попытку хоть сколько-то исправить окостеневшую, лишаящую людей экономического интереса и любой инициативы, систему централизованного планирования и управления экономикой. Скроенная по выкройкам «выдающегося менеджера» Сталина, она была, как показало дальнейшее, обречена на бесславный конец.

Много писал о проводившихся тогда – впервые в стране – экономических экспериментах, участвовал в их организации и анализе результатов. Был членом Комиссии ВЦСПС по экономическим экспериментам.

Попутно, по настоятельному совету моего постоянного автора, одного из самых выдающихся экономистов того времени А.М. Бирмана, я быстро прошел курс аспирантуры Плехановского института и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономические эксперименты в промышленности»... Она вышла в свет отдельной книгой.

Но скоро вся эта благодать кончилась. Над страной повеял ветер возврата к сталинизму. Реформы были свернуты. Наши танки вошли в Чехословакию. Где-то подспудно оживились притихшие было, прикусившие языки антисемиты. И вот как раз в августе 1968 года, под шумок пражских событий, «Экономи-

ческая газета» в один день избавилась от всех своих журналистов-евреев. Как была подготовлена и проведена эта многоходовая операция – я расскажу потом.

На этот раз мне не пришлось ходить в безработных полтора года – время все-таки было уже не то. На следующий день я позвонил другому своему постоянному автору С.С.Шаталину (будущему академику), с которым незадолго до того мы провели очень интересную и принципиальную дискуссию, поставившую крест на известной догме официальной политэкономии о соотношении первого и второго подразделений общественного производства. Мы с ним подружились. Станислав Сергеевич был короток:

– Приходи в пятницу в 12 часов к Николаю Прокофьевичу, все решим.

И я пришел к академику, с которым тоже был уже хорошо знаком, и... остался в ЦЭМИ на целых 22 года!

Объясняю: ЦЭМИ, Центральный экономико-математический институт под руководством академика Н.П.Федоренко – широко известный, в чем-то даже легендарный научный коллектив, попасть куда было большой честью для многих экономистов. В нем работала целая плеяда талантливых, свободно мыслящих людей (недаром академик любил шутить: «В отличие от других директоров, я не боюсь приглашать в институт людей, которые умнее меня!»).⁸

⁸ Об атмосфере, которая царила на семинарах Центрального экономико-математического института, ярко вспоминает такой автор, как Егор Тимурович Гайдар: «Когда я впервые попал на такой семинар, руководимый Николаем Петраковым, с трудами которого был давно знаком, появилось ощущение, что вот-вот собравшихся потащат в кутузку. Но именно такое деидеологизированное открытое обсуждение, жесткая постановка вопросов и высвечивали по-настоящему масштаб тех проблем, с которыми столкнулась социалистическая экономика». Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.Вагриус, 1996, С.31.

Еще работая в «ЭГ» я знал, конечно, что в недрах официальной, догматической советской науки вызревало новое направление - экономико-математическое. Преодолевая сопротивление некоторых членов редколлегии, опубликовал сначала несколько статей зачинателей этого направления, потом организовал целую вкладку - приложение под названием «Математика и кибернетика – друзья экономиста», потом провел в стенах редакции и опубликовал в газете острое обсуждение работ академика В.С. Немчинова, академика Л.В. Канторовича и профессора В.В. Новожилова, выдвинутых на Ленинскую премию. И она была присуждена - вопреки сопротивлению официальных руководителей экономической науки, под давлением естественно-научных отделений Академии наук. Помню, Леонид Витальевич Канторович (впоследствии – единственный советский лауреат Нобелевской премии по экономике), пришел ко мне в редакцию и тепло поблагодарил за поддержку...

В институте я продолжил научно-просветительскую работу, пропаганду экономико-математических методов. В 1973 году вышел в свет мой «Популярный экономико-математический словарь», получивший широкой отклик в прессе, Диплом Всесоюзного конкурса научно-популярной литературы. Потом многотысячными тиражами вышли второе и третье издание, а также пять переводов за рубежом: в ГДР, Венгрии, Польше, Болгарии, на Кубе. Потом я замахнулся на большее: научный «Экономико-математический словарь» без скидок на популярность. Хотя в изложении я стремился всегда делать его доступным – во всяком случае, для человека, имеющего соответствующую экономическую и математическую подготовку.

«Научный» вариант выдержал до последнего времени пять изданий (и в переводах – еще в двух странах, Китае и Казахстане). Он размещен в Интернете на известном портале «Яндекс. Словари», что большая

честь для автора. И десятки сайтов предлагают бесплатно скачивать эту книгу любому желающему, нарушая мои авторские права. Я уже не говорю о том, что недавно в одной из дружественных стран был совершен прямой плагиат: переводчики издали его под своим, а не под моим авторством... Можно по любому относиться к плагиату. Но все же автору он льстит: плохое воровать не станут!

Словарь стал без преувеличения главным делом моей жизни. Я им горжусь. И продолжаю работать над ним – буду делать это, наверное, до последнего вздоха.

Тем более, что с 1 января 2013 года в Интернете появился мой сайт, основу которого составило 6-е, существенно расширенное издание словаря, получившее длинное (но точное) название «Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь».⁹ В отличие от бумажной книги, электронную книгу можно дорабатывать, совершенствовать постоянно, повседневно. Чем я и занимаюсь.

Но, конечно, в ЦЭМИ я вел много и других работ, кроме Словаря (назову здесь только одну, значение которой трудно преувеличить: участие в разработке Комплексной программы развития научно-технического прогресса. Я был в самом эпицентре этой деятельности, объединявшей десятки институтов, тысячи людей по всей стране: членом Сводной рабочей группы вице-президента Академии наук Владимира Александровича Котельникова).

Помимо того, что занимался Словарём и писал для Н. П. Федоренко, меня довольно часто таскали в ЦК или Совмин писать всякие доклады, записки. Я всегда смеялся, что пишешь, правишь, переворачиваешь текст как хочешь, а когда текст опубликован — попробуй изменить запятую: тебя сразу могут посадить. Тексты я писал - вплоть до Брежнева. В одном из докладов на съезде партии был раздел под

⁹ [Http://slovar-lopatnikov.ru](http://slovar-lopatnikov.ru)

названием «Развивать и отлаживать экономический механизм». Его фактически написал я, по поручению Н.П. Федоренко, а для чего, для кого писал – я и понятия не имел. Это было очень занятно, ведь как было: пишешь, сдаёшь – и дальше не знаешь, что с текстом делается. Прошло по меньшей мере полгода. И вдруг в день Съезда мне звонит Николай Прокофьевич из больницы: он получил газету и говорит: «Что-то мне знаком текст раздела, я где-то его читал...». Пришлось ему все объяснить... Косыгину тоже писал пару раз. Андропову — проект комплексной экономической реформы. И в том виде, в каком я написал этот текст, он вошел в доклад, изложение которого было опубликовано. Для ясности повторю: «я написал этот текст». *Только написал.* Конечно, во всех описанных случаях я основывался на разработках и идеях коллег по институту. Моя роль была достаточно скромной: собирать и оформлять чужие мысли (в утешение себе добавляю: иногда вкрапляя и собственные, так тоже бывало, хотя и редко).

Между прочим, параллельно те же два десятилетия я продолжал (по совместительству) преподавать на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова. Читал созданный мною, впервые на факультете, курс экономической журналистики. Руководил дипломниками и даже одной аспиранткой из Ташкента. Вот почему – помните? – я писал, что «научным» этот период моей жизни можно назвать очень и очень условно.

Да и фактически «научный» период был прерван в 1990 году, когда я вновь вышел на журналистскую тропу: была организована новая газета «Деловой мир», и Павел Волин, заместитель главного редактора, уговорил меня стать членом редколлегии (зав. экономическим отделом) и экономическим обозревателем. В стране готовились большие перемены, шли бурные экономические дискуссии, выдвигались десятки противоречащих друг другу программ экономического переустройства страны. Да и сама страна,

усилиями местных коммунистических элит, трещала по всем швам, начинала разваливаться. Вот в эту «кучу-малу» и предстояло ринуться со всего размаха! Это было и интересно, и страшно.

Газета «Деловой мир» на первых порах показала себя неплохо. Ее материалы вызывали активную общественную реакцию. Особенно широко использовали их иностранные издания – по ним рассказывали о том, что происходит в России. Обильно цитировали «ДМ» авторы выходивших тогда в разных странах многочисленных книг о советской перестройке и «гайдаровских» экономических реформах, о первых шагах переходной экономики.

Лично я, разобравшись в многообразии предлагавшихся тогда реформ и направлений экономической мысли, сразу и решительно принял сторону так называемой команды Гайдара, из которой в самом конце 1991 года Борис Ельцин образовал правительство, «правительство реформ». С самим Гайдаром я познакомился задолго до того, как это имя стало известно широкой публике. Когда он, самый молодой в то время доктор экономических наук, был назначен директором новообразованного Института экономической политики, первое в своей жизни интервью он дал газете «Деловой мир», то есть мне.

Помимо содержательной части интервью, мы договорились о сотрудничестве, и в той или иной форме соблюдали это соглашение постоянно, до, увы, преждевременной смерти Егора Тимуровича.

Газета постоянно освещала работу правительства реформ, более того – защищала его от разнообразных оппонентов – убежденных антиреформаторов и людей, думавших, что они тоже за реформы, но иные, не «по Гайдару», и просто от бесчисленных злопыхателей. Наверное, всю картину политической жизни и экономической полемики этих лет я в своих воспоминаниях воспроизвести не смогу – места не хватит. Отошлю к своим книгам по новейшей экономической

истории России: «Экономика двоевластия» (2000 г.), «Перевал» (2006 г.) и «От плана к рынку» (2010 г.).

В 1996 году, в перерыве одного из заседаний так называемого Реформ-клуба «Взаимодействие»¹⁰, Егор Тимурович пригласил меня на работу в свой институт, тогда называвшийся Институтом экономических проблем переходного периода (сейчас это снова Институт экономической политики, или, проще, Институт Гайдара...). А через некоторое время газета «Деловой мир» закрылась, не выдержав конкуренции с новыми аналогичными изданиями, быстро набравшими силу. Что поделаешь: рынок есть рынок!

Именно так (кто-то может съязвить: за что боролись...). Известно, что Егор Гайдар и его команда (многие члены которой, выходцы из ЦЭМИ, до сих пор остаются моими друзьями) поставили задачу совершенно четко: обеспечить переход от централизованного планирования и управления экономикой России к современной и более эффективной рыночной системе хозяйствования. Или проще: от плана к рынку. И эта задача – при всех неизбежных в таком деле трудностях, при всем несовершенстве сложившейся рыночной системы, в целом успешно решена. И неплохо, чтобы каждый, покупая сегодня продукты или другие товары в гипермаркете, супермаркете и так далее – без очереди, без карточек или талонов, без просительного заглядывания в глаза надменному продавцу, понимал: это результат рыночных гайдаровских реформ... Исключительно!

Или вспомните вожденную когда-то для советских людей «СКВ» – свободно конвертируемую валюту, если кто забыл. А сегодня СКВ у каждого из нас в кармане – это рубль, тот самый, что был «деревян-

¹⁰ Дискуссионный клуб, созданный Е.Т. Гайдаром (и под его председательством) для обсуждения ключевых проблем экономических реформ. В него входили: группа членов правительства, группа представителей бизнеса, группа ученых-экономистов и группа журналистов, пишущих на экономические темы (в числе последних – и автор этих воспоминаний). Клуб действовал с 1992 по 2000 годы.

ным», «капустой» и так далее. Это тоже результат реформ, не такой яркий, как огни супермаркетов, но может быть, даже более важный.

Злопыхатели есть и сейчас. Они обманывают народ, крича на всех перекрестках о том, что «гайдаровские реформы провалились». Но все страны мира, все международные организации сегодня считают Россию страной рыночной экономики. Значит, не провалились, а выполнены. Это факт...

Если судьба позволит (а мне скоро 90 лет, в этом возрасте далекие планы строить рискованно), я постараюсь, рассказывая о своем – очень скромном! – участии в этом поистине революционном процессе, раскрыть некоторые малоизвестные его страницы, познакомить читателей с некоторыми из реформаторов, с которыми общался и о которых писал как журналист.

И еще осталась мне одна задача, выполнить которую хотелось бы обязательно: сейчас я вместе с коллегами редактирую и готовлю к изданию Собрание сочинений Е.Т. Гайдара – пусть станет оно достойным памятником этому замечательному человеку.

Итак, первая книга воспоминаний завершена. Если она найдет благожелательный интерес читателей, я постараюсь возможно скорее завершить подготовку к изданию второй, а затем и третьей. Если нет – они останутся в домашнем архиве.

А на прощанье я скажу...

С мудрого Востока восходит триединая формула: чтобы быть счастливым, надо построить дом, высадить дерево, воспитать сына. Ну, что же? Я построил дом (буду точнее: стандартный садовый домик 6 на 6 метров, но все-таки!). Я высадил сад. Вместе с любимой женой, с которой давно отпраздновал и серебряную, и золотую, и бриллиантовую свадьбы, воспитал троих детей. К этому надо добавить еще одно, очень важное обстоятельство: множество тех, кто в свое время готовили перемены в российской экономике, начинали постигать понятия современной экономи-

ческой науки как раз по моему экономико-математическому словарю. «Мы у вас учились, Леонид Исидорович» – эти слова я слышал от десятков знакомых и незнакомых людей.

Все это и есть – счастье.

15 января 2013 года.